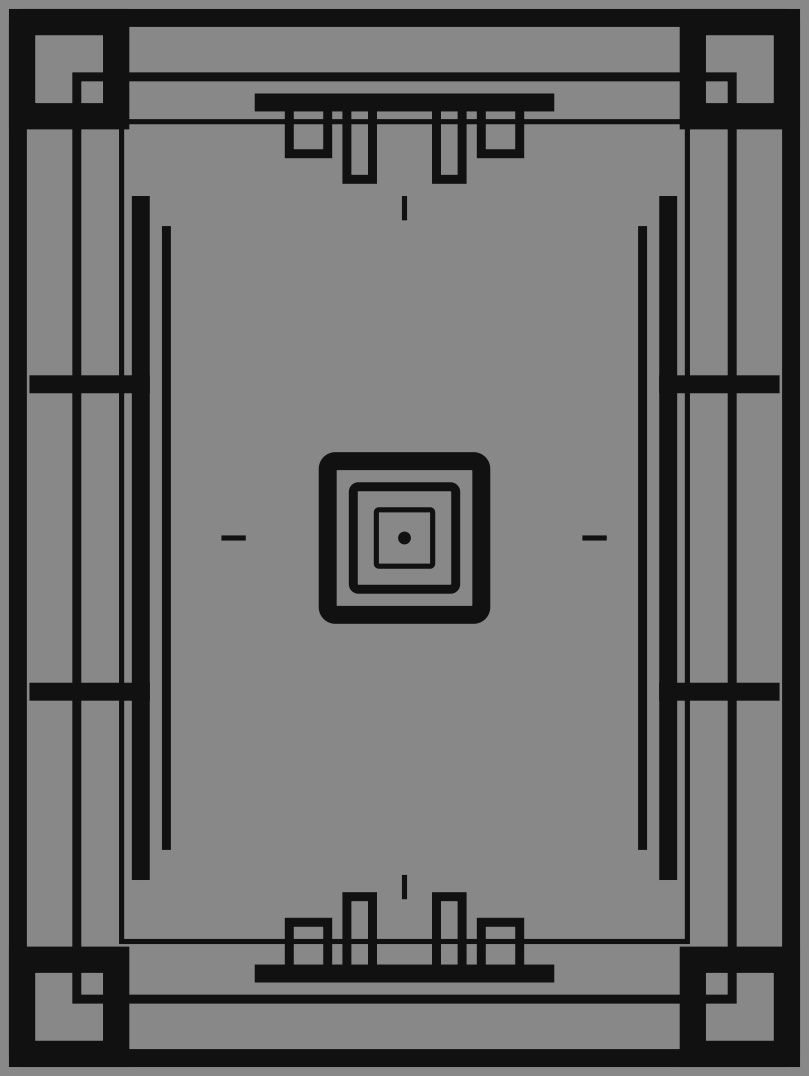


Месяц в деревне
Дж. Л. Карр

Дж. Л. Карр. Месяц в деревне. ПОВЕСТЬ

Дж. Л. Карр
Месяц в деревне
ПОВЕСТЬ

Посвящается Кейти.

Повесть — небольшая история, чаще о любви.
Словарь Джонсона

Переведя дыханье,
На месте я застыл —
Мне руку дав, признайся,
Что в сердце затаил?
А. Э. Хаусман [1]

Поезд остановился, я выкарабкался из вагона, прокладывая себе путь локтями и подпихивая ногой рюкзак. На платформе кто-то отчаянно выкрикивал: «Оксгодби… Оксгодби…» Мне никто не помог, так что пришлось снова пробираться в купе, спотыкаясь о колени и ботинки, за плетенкой (на вешалке) и походной постелью (под сиденьем). Если это и есть истые северяне,

[1] Примечания: 1

Альфред Эдуард Хаусман (1859—1936) — английский поэт и ученый. (*Здесь и далее стихи в переводе А. Солянова; прим. перев.*)

значит, я попал во вражеские края, и потому я не церемонясь шагал по чужим ногам. Услышал, как один парень вздохнул, другой засопел, но все молчали.

Потом стрелочник свистнул, поезд дернулся немного вперед и остановился. Тут же старик в углу опустил окно до половины.

— Даж-ди-ша збираеца прамокнешь д кастей, — сказал он, щелкая окном перед моим носом.

Из трубы взметнулся роскошный хвост дыма, и мимо поплыли тупо глазевшие на меня лица. А я остался на платформе один, пристроил за плечами рюкзак, в последний раз глянул на карту, спрятал ее в верхний карман пальто, снова вытащил и раскрыл, уронив билет на башмаки начальника станции, мечтая, чтоб дождь перестал, пока у меня нет крыши над головой.

Из дома начальника станции, прижавшись лицом к оконному стеклу, меня с любопытством разглядывала девчонка. Видно, мое пальто ей приглянулось, да и то — довоенных времен, года тысяча девятьсот седьмого, материал добротный, настоящий твид, плотный, в елочку. Оно мне было по щиколотку, прежний владелец, видно, был богач и великан.

Я чувствовал, что скоро промокну до нитки,

в башмаках хлюпала вода. Начальник станции уже скрылся в ламповой, пробормотав что-то на местном диалекте, я ничего не разобрал. Он сообразил и повторил на сносном английском:

— Я сказал: можете взять у меня зонтик.

— Да мне недалеко, — ответил я. — То есть по карте судя.

Народ в здешних местах, видно, ужасно любопытный.

— А куда вам?

— В церковь, — ответил я. — Там и отдохну.

— Может, чаю хотите? — уговаривал он.

— Я условился со священником, он меня ждет.

— А-а, — протянул он. — А я уэслианец [2]. Если нужна будет моя помощь, только намекните. Они в церкви все небось уже подготовили к вашему приезду.

Он, похоже, знал, зачем я приехал.

И я вяло двинулся в путь, сунув под пальто плетенку с пожитками, чтобы укрыть от дождя. Дорога шла там, где было указано на карте. Одинокое строение оказалось пришедшей в упадок

---

[2] Примечания: 2

Уэслианцы — секта методистов, образовалась в 1835 г., В 1857-м объединилась с уэслианскими реформистами, названа по имени Основателя методизма Дж. Уэсли (1703—1791). Методизм — течение в англиканской церкви.

фермой. Запущенный палисадник уныло приютился за проржавевшим железным забором. Эрдельтерьер, натянув цепь, несмело тявкнул и снова спрятался под навес. В зарослях крапивы чернели развалившиеся старые курятники. Дождь струйкой тек с моей шляпы по шее, одна ручка у сумки сломалась. Я обогнул высокий забор и оказался на лугу. Передо мной стояла церковь.

Она была небогатой. Ясно, что шерстяной бум [3] обошел стороной эти края. Тут жили трудно и скудно, каждый камешек на счету. Низкий алтарь накрывала непривычно пологая крыша; должно быть, его пристроили на добрых сто лет позже, чем само здание (над основным нефом крыша была крутой, а над боковыми — более пологой). Башня была приземистой. Не торопитесь с выводами, храм радовал глаз, и, подойдя поближе, я убедился, что кладка у стены отличная — тесаный камень-известняк, а не рубленый. Даже между контрфорсами он был прекрасно стесан, плотно прилегал один к другому, только кое-где

[3] Примечания: 3

При короле Эдуарде III (1312—1377) шерсть стала важнейшей статьей английского экспорта, отчего страна в XIV—XV вв. разбогатела; С тех же времен идет обычай — лорд-канцлер в палате лордов сидит на набитой шерстью красной подушке.

пришлось скрепить его раствором, и я, хоть и вымок до нитки, в душе аплодировал каменщикам. Сам камень, с желтоватыми крапинками магнезии, отбили, верно, где-то около Тэдкастера и везли реками. Пусть вас не раздражают эти подробности; даже в те далекие дни, по-моему, я отлично разбирался в камне. Кладбищенская стена была в хорошем состоянии, хотя почему-то щеколда на воротах была сорвана, и они держались на бечевке. Было тут несколько красивых надгробий восемнадцатого века; херувимы, испещренные лишайниками, песочные часы и мраморные черепа тонули в бурьяне, крапиве и лебеде. Я бросил взгляд на шпили семейного склепа, заросшего шиповником. Откуда ни возьмись вынырнула серая кошка, глянула на меня злобно и исчезла. Бог знает что тут еще водилось: может, кладбище теперь заповедник разной живности?

Я не мог удержаться, чтобы не проверить, в исправности ли сточные трубы и желоба, и обошел храм. На стенах ни пятнышка, ни подтека! Сырость — погибель для настенной живописи. Обнаружь я хотя бы одну стену сырой, я бы вмиг смылся на станцию.

Я вернулся к паперти, каменные скамьи тут за пять сотен лет отлично отполировали зады скор-

бящих, провожавших близких в последний путь, истомленных ладаном и угрызениями совести.

Я дернул за ручку колокольчика и толкнул дверь. Она жалобно скрипнула — предупреждение, за которое я ей бывал благодарен и в последующие недели. И вот я внутри. Большая просторная церковь оказалась такой, какой я ее себе представлял, — пол из каменных плит, три приземистые колонны по обе стороны нефа, два низких боковых нефа и задвинутый в глубину алтарь, переделанный (насколько я мог догадаться) усердным трактарианским [4] священником. Потолок был сделан на славу, точно дно корабля, перевернутое вверх тормашками. Похоже, на нем еще лепнина есть. Но ведь важней всего запах, именно запах места, а здесь пахло сырой травой.

Арку под алтарем, как мне сообщалось в письме, забрали в леса, сразу видно — ставили их наспех. Успели приспособить даже лестницу, по которой я немедленно забрался наверх. Во многом можно было бы упрекнуть его преподобие Дж. Г. Кича. Увы, во многом. Но когда он

---

[4] Примечания: 4

Последователи трактарианства, религиозного движения, которое — наряду с Оксфордским движением — выступало за возвращение англиканской протестантской церкви к католицизму, но без слияния с римско-католической церковью.

предстанет перед престолом Вечного Судии, в оправдание его можно будет сказать: он занимался делом, Господи! А для англичанина это редкая добродетель. Во Франции нам приходилось пересекаться с несколькими майорами-снабженцами вроде него. Кич сказал, что леса будут готовы к моему приезду, и пожалуйста — стоят. Он сказал, что, если я приеду поездом в четверть восьмого, он будет ждать меня в церкви в семь тридцать. И он ждал. И когда он предстал передо мною, образ, созданный мной его четким, деловитым письмом, обрел плоть, он стоял на пороге, убедившись по мокрым следам, что я приехал. Точно собака-ищейка проследил взглядом цепочку следов до подножия лестницы, а потом поднял глаза.

Он был лет на пять старше меня, лет тридцати, высокий, но на вид несильный, четкие черты, холодный, непроницаемый взгляд блеклых глаз; никак он не мог привыкнуть к моему нервному тику, еще долго смотрел куда-то через мое плечо.

Он сразу взял быка за рога:

— Относительно того, чтобы вы жили на колокольне. Я отнюдь не в восторге от подобной перспективы, скажем так — эта идея не по душе мне. Да, я вам со всей определенностью писал в своем письме, что каждое воскресенье Моссоп

должен звонить в колокола, что веревка проходит через проем в полу. Я рассчитывал, что вы где-нибудь еще устроитесь — снимете у кого-нибудь из местных комнату или номер в гостинице «Пастухи».

Я пробормотал что-то насчет денег.

— Печка, — сказал я, — Как насчет печки? Вы ничего не сказали. Я могу ею пользоваться?.. Если дождь зарядит, как сегодня.

Услышав, как я заикаюсь, он заколебался, но ненадолго.

— Это не оговорено в контракте, — он давал понять, что мои тик и заикание тоже не были оговорены. — С самого начала о печке речи не было. Нам ведь тоже приходится думать о расходах. Вы написали, что привезете с собой примус. В первом письме. Вот в этом. — Он достал из кармана письмо и ткнул мне. — В середине второй страницы.

— Но вдруг я что-нибудь подожгу? — возразил я, довольный собой; люди не понимают, что у заик больше времени на ответы на глупые вопросы, и я этим воспользовался. — И не забудьте о страховом полисе. Там есть специальный пункт — «О злоупотреблениях». Метан и керосин… старое дерево… страхование от огня — тоже источник

премиальных. Мой дядя был страховым агентом.

«Злоупотребления» возымели действие. Злоупотребления в Лондоне недопустимы, *а в* глубинке, да к тому же на севере, боже упаси! И хорошо известно, как раздувается грех, стоит о нем сообщить священнику.

— Ну ладно, — сказал он раздраженно. — Можете пользоваться, коли уж вам так надо. — Потом, как все, кто легко уступает, начал придираться по пустякам, чтобы сохранить свое достоинство. — Имейте в виду, по воскресеньям церковь действует, а стало быть, не забывайте, что это вообще святое место. Вы, надеюсь, англиканин?

О да, конечно, заверил я его, он может на меня положиться.

Я понимал, что он подозревает двусмысленность, размышляет, в чем именно он может на меня положиться. Судя по его лицу — выводы он сделал неутешительные. Я не был похож на англиканина. Скорее на подозрительного типа, способного на злоупотребления, типа, которого, пренебрегая советом, наняли зачем-то расчищать и реставрировать фреску, на которую глаза б его не глядели, и чем скорее я с ней покончу и уберусь в погрязший в грехе Лондон, тем лучше будет.

— Какая необычная, — сказал я.

— Что?

— Печка, — ответил я, — необычная.

— Безнадежно устарела, — сказал он. — К зиме надеюсь ее выбросить. Я нашел в каталоге только что запатентованную печь с двумя котлами. Каждый котел в водяной рубашке — нет угрозы перегрева. И бесшумная работа гарантируется. — Он преобразился, без удержу нахваливая печку, хотя в Оксгодби она была явлена всего лишь картинкой каталога. — А эта дура или перегревается и накаляется докрасна, или же горит еле-еле, проку от нее никакого. — И он с пренебрежением пнул ее ногой. Они опаляли друг друга точно заклятые враги.

Он готов был говорить еще долго, но я не слушал его, внимательно изучал печку. Меня очень занимали всякие механические штучки. До того дня я увлекался больше часами и механизмами. Раньше меня не интересовали печки, которые топят углем. А у этой были разные винтики и краники, назначения которых я не знал, короче, это чертово чудище обещало мне подарить несколько приятных часов, пока я выведаю все его слабости. Еще я надеялся, что, пока я здесь, Кич не выбросит печку. Как бы то ни было, я ласково погладил место, в которое Кич пнул ее ногой.

Если не жалеть топлива и подсобит милейший Моссоп (не знаю, кто такой), печка эта может так раскочегариться, что будет прекрасным наглядным пособием для проповеди об адовом пламени и кладезе бездны [5].

Ее украшал большущий герб, увитый железными розочками, на котором значилось, что изготовила ее «Бэнкдем-Кроутер лимитед», что по адресу Грин-Лейн, Уолсол, патент № 7564Б. Да с такой родословной можно заклинать духов! И даже не ветвь генеалогического древа, а целая династия… Бэнкдем-Кроутер, короли печного мира! Кто знает, что сталось с Бэнкдемами, а вот о Кроутере я читал в «Дейли мейл»: он для большей надежности перерезал себе глотку, а потом сиганул с Бридлингтонского пирса. Конечно, его до этого довели не печки, а бабы и лошади. Так прекратились печки Бэнкдем-Кроутер. Невосполнимая потеря для тех частей света, где не обойтись без тепла угольных Печей. Последнюю такую я видел на Ипре. От прямого попадания бомбы церковь рухнула. Но не старушка Бэнкдем-Кроутер! Честь и хвала английскому рабочему!

Дождь стучал по крыше.

---

[5] Примечания: 5
Откровение Иоанна Богослова, 9, 1.

— А что конкретно вас в ней не устраивает? — спросил я.

— Она грохочет, — сказал он раздраженно, — отвлекает прихожан, мешает им молиться и петь, несмышленые ребятишки смеются. И потом, у нее с дымоходом нелады… что-то там скапливается, и дым прорывается в дверцу, а к тому же искры, пепел… да, пепел. Так и сыплется на прихожан. Мне уже столько раз жаловались. В этом году во время вечерней молитвы пятнадцатого января пепел на хоры посыпался, когда певчие гимн исполняли. Хлопьями! Я приглашал специалиста из Йорка посмотреть, что с ней. Он содрал с нас гинею, обещал, что больше она барахлить не будет. А через месяц все снова-здорово. Сейчас вроде бы утихомирилась. Надеюсь, на вас можно положиться, вы не будете мне с ней надоедать.

Он прекрасно знал, что на меня нельзя ни в чем положиться. Я выглядел совершенно неблагонадежным типом, мое пальто выдавало меня с головой. Да еще лицо, левая сторона. Его, как печку Бэнкдем-Кроутер, бил тик. Люди, вроде преподобного Дж. Г. Кича, зрелище это плохо переносили. Обычно начиналось с левой брови и опускалось ко рту. Тик я подхватил при Пас-

сендале [6], да и не я один. Врачи сказали, что со временем пройдет. Но оттого, что Винни ушла, мне не стало лучше.

Конечно, заверял я его, он может на меня положиться, и изобразил на своем лице, как мне казалось, благонамеренную гримасу. Но щека моя подергивалась, что придавало мне не благонадежный, а скорее зверский вид; он снова пнул печку ногой, теперь уж в замешательстве.

— А теперь, — сказал он, — еще один деликатный вопрос. — И впрямь, видно, момент был чрезвычайной деликатности, ибо он понизил голос. — Не соблаговолите ли вы для естественной нужды использовать домик в северо-восточном углу кладбища? Вы увидите, он весьма уединенный, вдали от любопытных глаз, стоит в кустах сирени. Когда я в последний раз туда заглядывал, там было кое-что из инструментов Моссопа, но там довольно просторно. Пожалуйста, раз в неделю прыскайте аэрозолем и подбрасывайте свежей земли, чтобы мухи не заводились.

Ему немалых усилий стоил этот монолог, наступила пауза, во время которой он собирался с

---

[6] Примечания: 6

Пассендальская битва происходила недалеко от Ипра (Бельгия), здесь германские войска впервые применили химическое оружие — хлор и горчичный газ — в 1914 и 1915 гг.

духом, чтобы приступить к следующим откровениям.

— Коса, — вымолвил он.

— Коса?

— Коса Моссопа висит там на гвозде. Но он ржавый. Гвоздь.

— Понятно.

— Вы уж удостоверяйтесь, что она надежно висит, прежде чем…

Я поблагодарил его, размышляя, о чем же он на самом деле болеет душой: как бы я жизни не лишился или же всего-навсего мужского естества.

— Муну я тоже разрешил пользоваться. А к какому периоду она относится, как вы думаете?

Вряд ли это об уборной, решил я, скорее о печке, и потому ответил:

— Ну где-то к 1890-му… 1900-му, что-то в этом роде.

А сам подумал: интересно, кто этот Мун, мой тайный компаньон.

— Да нет же, — озлился он. — Стена… Фреска…

Я ответил, что не могу сказать наверняка, пока не расчищу хотя бы часть фрески. Одежда на фигурах позволит ответить с точностью до десяти — двадцати лет; мода тогда так быстро не менялась, даже среди знати, а у бедняков она,

естественно, вообще практически не менялась, так что вся моя надежда на знатных дам на фреске. Приблизительно в 1340-м вышли из моды верхние юбки особого покроя, зато стали носить ленты. Но если он хочет, чтобы я пытался сейчас гадать, а я могу только гадать, не более того, — это четырнадцатый век, после «черной смерти» [7], когда уцелевшие богачи за гроши покупали поместья своих почивших в бозе соседей, но страх за собственную шкуру заставлял их выжимать из своих тугих кошельков кое-что в пользу церкви.

Он опять перескочил на другое — верно, потому-то его и было так трудно слушать. Да и голос был до того нудный, что уши вяли, я, видно, почти все пропустил мимо (должно быть, размышлял над дамокловой косой Моссопа).

— Когда вы приступите к работе?

Этот вопрос я услышал. Что ж тут спрашивать: раз я здесь, значит, я уже приступил. Это же элементарно. Потом до меня донеслись его слова:

— Нас не обрадуют непредусмотренные расходы.

---

[7] Примечания: 7

Название чумы в Европе в XIV в.; особенно сильно пострадали от эпидемии Англия и Ирландия в 1348—1349 гг., унесшей около четверти населения и положившей конец золотому веку знаменитых соборов, возведенных английскими мастерами обработки камня, в стиле так называемой «украшенной готики».

— А их и не будет.

— Их и не должно быть. Вас устроило двадцать пять гиней. Двенадцать фунтов десять шиллингов должны быть выплачены, когда будет закончена первая половина работы, а по окончании и одобрении всего цикла работ душеприказчиками — тринадцать фунтов пятнадцать шиллингов. У меня с собой ваше письмо.

— Почему только душеприказчиками? — спросил я. — А почему не вами?

Это был тонкий выпад.

— Упущение мисс Хиброн при составлении завещания, — соврал он с горечью. — Не доглядела.

Конечно, подумал я. Естественно!

Но он нанес мне ответный удар:

— Как бы то ни было, во всех случаях я представляю интересы душеприказчиков. Я не буду возражать, если вы восстановите… все подпортившиеся и утраченные участки можете… дорисовать. Если это будет соответствовать стилю и колеру фрески. Полностью доверяю вам, — добавил он несколько неуверенно.

Невероятно, думал я. Почему почти все священники такие! Надо ли оправдывать их равнодушие к ближнему тем, что они посвятили себя Госпо-

ду? Ну, а как же с женами? Неужели они и дома такие?

— Конечно, нет стопроцентной гарантии, что там что-то есть, — произнес я, стараясь говорить дружелюбно.

— Конечно, там что-то есть. Хотя я не могу полностью полагаться на мисс Хиброн (сейчас не место обсуждать мои мотивы), она была женщиной неглупой. Она поднималась наверх и скребла стенку и что-то там обнаружила.

Господи, этого еще не хватало! Скребла стенку!

— И много она наскребла? — простонал я, готовый разрыдаться и вперясь в бешенстве во тьму поверх алтарной арки. (Щека моя дергалась как безумная.)

— Одну голову, думаю, — ответил он. — Но не больше двух, уверяю вас.

Голову! А то две! Очень может быть, что и полдюжины! Она небось наждаком и щеткой для кастрюль орудовала. Мне захотелось взбежать вверх по лестнице и биться головой об эту стенку.

— Она потом все снова закрасила, — продолжал он, абсолютно не замечая моего отчаяния. — Хочу вас сразу поставить в известность, что я был против того, чтобы вас нанимать, Без сомнения, вы

догадались об этом по тону моего письма. Дело бы не зашло так далеко, если бы ее душеприказчики не стали упрямиться, когда я попросил их согласия на то, чтобы потратить ваши двадцать пять гиней на другие нужды, и если бы не их идиотский отказ внести тысячу фунтов оставленных ею денег в наш строительный фонд, пока все условия завещания не будут выполнены.

Я уставился в темноту. Откуда она вообще узнала про фреску? А вдруг там ничего и нет, кроме того, что осталось от этих ее голов? Но если Кич, Фома неверующий, верит, что она там, значит, она там. А вдруг он тоже скреб стенку?

— Это будет на виду у прихожан.

— Это? — спросил я. — Это?

— Что бы там ни было, — отрезал он в бешенстве, глядя наверх, — люди будут отвлекаться от молитвы.

— Совсем ненадолго, — сказал я. — Люди устают от статичных цвета и формы. А к тому же они всегда рассчитывают почему-то, что у них будет свободное время и что они в будни придут и досконально все разглядят. — Мне бы сказать «мы», я точно такой.

Знаете, кажется, он всерьез вдумывался в этот довод, прежде чем его отвергнуть. Затем он уда-

лился. Он так и не сказал мне, кто такой Мун. Может, мы столкнемся за кустами сирени?!

Я снова взбежал по лестнице и осторожно спружинил на настиле. Леса были на диво устойчивые и надежные. Потом я стал созерцать возвышающуюся прямо передо мной беленую часть стены. Да, именно «созерцать», другого слова не подберу, то было торжественное мгновение. Она тянулась (я имею в виду стену) до стропил, внизу и по бокам ее обрамляла арка. Как слепой, я стал ощупывать стену ладонями, пока не нашел участки, которые мисс Хиброн соскребла и снова забелила. Мы живем надеждой, такова уж наша природа, всегда мы готовы обманываться, увлечься чудом, которое непременно вот-вот обнаружится в кульке из оберточной бумаги.

Но я же знал, что это здесь! И я знал, что это — Страшный суд. Это, конечно же, Страшный суд, потому что самые важные эпизоды всегда помещали на видном месте, чтобы прихожане волей-неволей зрели ужасы, которые им грозят, если они не выплатят десятину, которую задолжали церкви, или женятся на брюхатой девке. Архангел Михаил мерит на весах отлетевшие души и грехи их, Христос во Славе в роли рефери, а внизу вечное пламя. Великолепная массовка.

Дурак я, надо бы потребовать плату с каждой головы.

Я так разволновался, что тут же приступил к работе, если б не темнота. Вот подфартило! Первая работа… да, первая самостоятельная работа. Только бы не напороть, не испортить, думал я. Цена страшная, но ничего, выживу, зато будет что показать будущим клиентам. Хоть бы это оказалось что-нибудь хорошее, прямо великолепное, удивительное. Как Стоук Орчард или Чалгроув. Чтобы не удержалась «Таймс», а «Иллюстрейтед Лондон ньюс» поместил очерк с фотографиями.

Я спустился с лесов, взобрался по другой лестнице на колокольню, но перед тем, как зажечь керосиновую лампу, подошел к окну и выглянул — в темноте, пробиваясь сквозь дождевую завесу, горели огоньки деревни. Ну что ж, подумалось мне, это мой дом на ближайшее время, я ни души не знаю здесь, никто не знает меня. Я тут как марсианин. Нет. Вот и неправда. Я знал его преподобие Дж. Г. Кича, может, знал о нем все, что надо. И начальника станции, разве он не предложил мне чашку чаю? Почти весь цвет общества Оксгодби с Моссопом и Муном ждал своего выхода на сцену. Я уже стал кое-кем, и это за несколько часов. Дивно.

Этой ночью, впервые за долгие месяцы, я спал как убитый, а утром проснулся ни свет ни заря. Вообще-то я подымался с рассветом все дни, что провел в Оксгодби. Работа была адская, я почти весь день был на ногах, даже ел часто стоя, а потом — ночью, на моих хорах, высоко над полями, вдали от дороги, куда не доносились ничьи голоса, ничто не нарушало моего покоя. Иногда, внезапно проснувшись ночью, я слышал, как тявкает лисица на опушке дальнего леса или попискивает неведомая зверушка, притаившаяся во тьме. Ничто не мешало мне, кроме подрагивавшей веревки, свисавшей с колокольни сквозь дыру в потолке, скрипа стропил, шороха камня, который за пять веков не перестал оседать.

За то время, что я провел там, меня только две ночи мучили кошмары. В первый раз мне приснилось, что на меня падает башня, а во второй — я ползу на пулеметную очередь, укрыться негде, а я ползу и ползу по грязи навстречу мерзкой смерти. Я вскрикиваю, и мой крик тонет в хоре ночных звуков. Да, была еще третья бессонная ночь, но это гораздо позже и совсем другое дело.

Итак, в первое утро я свернул одеяло, стараясь не задеть веревку от колокола, подошел к окну, выходящему на юг, и скинул плащ, которым и

прикрыл его от дождя. Окно было самое обычное, незастекленное, двустворчатое, конечно, с простым крепким средником, способным выдержать мой вес. Дождь прекратился, и на кладбищенской траве блестела роса, паутина дрожала в воздухе, два черных дрозда бродили в поисках добычи, в рябине тоже заливался дрозд, я его видел. А внизу раскинулся луг, по которому я шел со станции (возле ручья круглилась палатка), а дальше поля, поля до темной кромки холмов. И когда рассвело, взгляду открылись огромные, великолепные просторы. Я отвернулся, да, мне здорово повезло.

Потом я распаковал мои запасы: чай, маргарин, какао, рис, хлеб. Неплохо бы где-нибудь свистнуть банки с плотными крышками, чтобы было куда все сложить. Я зажег примус, поджарил два ломтика ветчины и сделал себе толстенный сандвич. Отлично! Сидишь на досках, опершись о стену, в окне холмы, вздувшиеся точно спина огромного морского зверя, темный лес плавно сбегает в долину.

Да, Господи Боже, в первое же утро, в первые же минуты первого утра я почувствовал, что эти незнакомые северные края приняли меня дружелюбно, что началась новая жизнь — и это лето 1920 года будет не торопясь гореть, пока не

падут первые листья, оно станет благословенной порой моей жизни.

Я сказал себе: сколько надо, столько и потрачу на эту работу — конец июля, август, сентябрь, даже октябрь. Я буду счастлив, заживу скромно, просто, буду тратить деньги только на свечи, хлеб, овощи, мясо стану покупать изредка. Двух пинт молока в неделю — вполне достаточно, но такая погода долго не продержится, придется покупать три пинты — овсяная каша очень сытная, подогрей — и, пожалуйста, обед готов. Я рассчитал, что, раз не надо платить за квартиру, можно прожить на пятнадцать шиллингов в неделю, даже на десять-двенадцать. В сущности, двадцать пять гиней, которые мне обещали заплатить, можно растянуть до тех пор, пока холода не загонят меня на зимние квартиры в Лондон.

В эту тихую гавань заглянуло чудо, в течение нескольких месяцев ничто на свете не будет волновать меня, ничто, кроме фрески, которую надо расчистить. А после можно опять попытать счастья, снова забыть, что сделали со мной война и скандалы с Винни, начать сначала. Именно это мне нужно, думал я, глядишь, оклемаюсь.

Да, человек живет надеждой.

На хорах было еще одно окно, я его приметил

вечером. Какое-то там было отверстие, заткнутое мешковиной, я вчера подумал: должно быть, это окно. Я сорвал мешковину.

Я перевидал на своем веку десятки, может сотни, церквей, но, знаете, эта мешковина скрывала удивительнейшую вещь. Передо мной под самым носом возвышалась капитель, массивная, огромная англосаксонская капитель! Я расхохотался. Раньше мне никогда не доводилось видеть ее, но я сразу же признал ее по картинке в нашем старом учебнике Баннистера и Флетчера, в нашей Библии в классе по английской архитектуре, который вела мисс Уитерпен. «Рисуйте капитель, — бурчала она бывало. — Ладно уж, не морочьте себе голову прекрасной коринфской капителью, рисуйте английскую капитель». (Я и сейчас могу ее изобразить.)

А тут вот она: грубая каменная бочка с парой обручей наверху и внизу. «Ладно уж, рисуйте капитель!» Если бы я был Джозефом Конрадом, я бы пустился сейчас разглагольствовать о потерянном острове юности. Моя первая всамделишная капитель! И на протяжении нескольких недель я был безраздельным ее хозяином: это была моя капитель! Я стукнул ее в бок — разок за Баннистера, разок за Флетчера, разок за пролетариев всех

стран, давно усопших, и за тех, кто еще суетится, вроде меня.

Я посмотрел вниз, в неф. Освещение в храме было плохое, и на лесах под потолком слишком темно, начинать работу нет никакой возможности. Я спустился и обошел всю церковь. Благодаря аркаде в низком нефе и двум широким боковым нефам она выглядела красиво, а если по частям ее рассматривать (за исключением, конечно, моей капители), совсем неуклюжей казалась. Правда, была тут одна отличная скульптура — барочный барельеф прекрасно сложенной юной леди Летиции Хиброн, которая, целомудренно скрывая свое главное достоинство под саваном, выбиралась из элегантного катафалка. Все это очень мило изобразил некий А. Х. в 1799 году, присовокупив к барельефу поэтические строки от имени ее молодого супруга. Хотелось надеяться, что он их не из каталога списал. Латынь, конечно, но я понял смысл…

Conjugam optima amantissima et delectissima —

Самой любящей и самой красивой жене, а далее на протяжении одиннадцати строчек следует перечень ее ни с чем не сравнимых чар, а в двенадцатой одно-единственное слово, его последнее

унылое прости — Vale [8].

Я еще раз посмотрел на Летицию и после этих признаний долго не мог отвести взгляд. Облегающий саван ей шел, лицо с чуть оттопыренной кокетливой верхней губкой светилось благорасположенностью, «Conjugam optima amantissima et delectissima». Да, он был прав. И ему больше повезло, чем мне.

Потом я затащил рюкзак наверх и разложил его содержимое — ланцет (снимать побелку), бутыль со спиртовым раствором соляной кислоты, кисточки, щетки, сухие краски, бутыль с дистиллированной водой (разбавлять нашатырный спирт)… почти все это дал мне Джо Уоттерсон, заявив, что завязал с реставрацией и желает мне удачи.

— Это профессия, старик, — сказал он. — Дико опасная и изнурительная; но если слово «профессия» означает квалифицированный труд, которым не всякий владеет, то это безусловно профессия. — И он горестно засмеялся в бороду. — Нас, реставраторов, скоро совсем не станет; я знаю только вас двоих, но Джордж Пековер плохо стал видеть, как бы с лестницы не сверзился. То-

---

[8] Примечания: 8
Прощай! *(лат.)*

гда будешь подыхать с голоду без конкуренции.

Я осторожно обходил свои владения. Прямо над головой конек крыши упирался в основание башни, украшенной весьма причудливой лепниной, ее первоначальный цвет сохранился благодаря постоянному сумраку под неприступными сводами высоких крыш. Тут была великолепная средневековая галерея; ближе всех ко мне нарисована почти испанская голова Христа в терновом венце, ударяемого по ланитам, дальше пугало-бес просунул ухмыляющуюся рожу меж двух прелюбодеев и, наконец, дебелая дама с голубым щитом из лилий. Это подтверждало то, что знает каждый, кто рыскает по церквам, — в старом храме непременно найдешь что-нибудь уникальное, надо только смотреть как следует.

Скрипнула дверь — на пороге возник коренастый, невысокий парень и, стараясь ничего не упустить, принялся меня оценивающе разглядывать. Самоуверенное, круглое лицо, синие, умные глаза.

— Доброе утро, я Чарльз Мун. — Он снял со своей взъерошенной светловолосой головы мягкую твидовую шапку. — Я тут рядом раскопки веду. На лугу. Наверное, заметил палатку? Я не хотел сразу заваливаться, думал, подожду, пока

устроишься, да стало невтерпеж. Одним глазком на тебя взглянуть. В общем-то не только это. По правде говоря, ночами я так маюсь, спать не могу, чуть свет вскакиваю, все думаю, вдруг удалось Летиции выбраться ночью на свет Божий?! — И он махнул рукой в сторону южного нефа.

— Я сейчас спущусь, — сказал я и сбежал вниз. Ему было лет двадцать семь — двадцать восемь, коротышка, он стоял так крепко, будто корни пустил. И этот его вид — «все воды Твои и волны Твои прошли надо мною» [9] — выдал его еще до того, как я заметил на плечах его гимнастерки три дырочки от капитанских звездочек.

Он понравился мне с первого взгляда — самостоятельный парень. А я понравился ему (так всегда и бывает). Господи, как вспомнишь эти годы! И все кануло в Лету. Гордость и волнение из-за первой работы, Оксгодби, Кейти Эллербек, Алиса Кич, Мун, тихие, безоблачные дни — все ушло, будто никогда ничего и не было.

Мы выбрались на солнышко, прислонились к стене. Я спросил, надолго ли он в здешних краях, он кивнул на палатку.

— Пока первые морозы не прогонят. Надеюсь

---

[9] Примечания: 9
Псалтирь, 41, 8.

отложить деньжат, чтобы было с чем зазимовать в Уре. Вулли делает раскопки зиггурата [10], он даст мне работу, когда я появлюсь.

Позже я понял, что в этом мудрость Муна: против надежды и рассудка знать, что все будет хорошо. «Вулли даст мне работу!» И тот ведь даст! Так и представляешь себе фантастическую картину: Мун спрыгивает с поезда, который раз в сутки идет из Басры в Багдад, на полустанке Ур; там ничего, даже платформы нет — только три хижины, он пробирается по камням и песку, выкрикивая: «А вот и я! Мы с вами раньше не встречались, так что вы не знаете меня. Меня зовут Чарльз Мун. Какую работу вы мне можете предложить?»

Я поинтересовался, что он здесь ищет. Он засмеялся.

— Согласно официальной версии, ищу могилу предка мисс Хиброн. Пирса Хиброна, 1373 года рождения. Она где-то вычитала, что его отлучили от церкви, и решила, что, должно быть, его похоронили не на погосте. Я должен найти его, во всяком случае поискать. Она оставила пятьдесят гиней ему на ограду. — Он спешил, будто эти

---

[10] Примечания: 10
Вавилонский или ассирийский храм типа ступенчатой пирамиды.

подробности его и не интересовали.

— Не будет костей, не будет и монеты?

— Да нет, боже упаси. Тут не о деньгах речь. В контракте говорится, что я должен «по мере возможности продолжить работу в пределах разумных сроков». Душеприказчики сошлись на том, что их вполне устроят три-четыре недели, чтобы я особенно не отчаивался, если не найду.

— И ты действительно надеешься найти это… его? Я хочу сказать, что его где угодно могли захоронить. Небось семьи, вроде Хибронов, запросто покупали священников со всеми потрохами. Может, он покоится под алтарем.

Мун ухмыльнулся. Немного позже я вспомнил, что улыбка у него мудроватая (так говорят в тех краях).

— Что ж, может, ты и прав, — сказал он и неопределенным жестом показал не только на луг, но и на все окрест. — Так я и сказал старику. Какому старику? Да ее брату, полковнику. Нет-нет, он в англо-бурскую воевал. Он все понял. «Железная логика, Мун. Именно так я и говорил Эдди. Не мели чепухи, Эдди, говорил ей. Он где угодно может лежать. Вон Моссоп у парника с огурцами кости нашел, вполне возможно, они самые и есть». Один черт. Вечно одно и то же

талдычила: «Полагаю, что я могу распорядиться деньгами по своему усмотрению, Тед. Тебе и так оставлено больше, чем тебе понадобится». Глупа как пробка!

Мун фыркнул.

— Я в отчаянии, что не был с ней знаком, — сказал он и сунул руку в карман за бумажником. — Смотри, вот фотоснимок нашей благодетельницы, мне Моссоп дал. Немного выцвела.

Я с жадным интересом изучал мисс Аделаиду Хиброн, мою первую хозяйку. У нее была вытянутая головка, светлые волосы зачесаны назад, слегка циничная улыбочка приподняла уголки рта, блеклые глаза, изящный носик. Полковник, особенно получивший звание на англо-бурской войне, не мог рассчитывать на победу в сражении с этим фельдмаршалом в юбке.

— Сдается мне, я бы с ней враз поладил, — сказал Мун. — Думаю, она бы просекла, почему мне наплевать, откопал я старика или нет. Жаль, что она не раскошелилась на это мероприятие, пока еще была жива: ее ежедневные визиты украсили бы мою жизнь.

— Чудно! Зачем же ты с такими настроениями — ведь тебе начхать на результаты — сюда приехал? — Я подразумевал: тут что-то не так.

— Просто я сразу понял, что к чему, — ответил он, будто удивляясь, что я сам не понимаю. — Может, не совсем так. Я увидел вероятность. Я не подписывал контракт, пока мой приятель, летчик из АСВ [11], не слетал со мной на своей колымаге. Мы прилетели поздно вечером. Совершенно неожиданно. Это самое подходящее время, чтобы увидеть, что здесь было давным-давно.

Я оказался прав, это было ясно, как на ладони — базилика [12]. Саксонцы такую штуку назвали бы часовней. Она примерно с 600—650 годов. Очень, очень ранняя, небось вскоре после первого острого приступа христианства [13], потому что стояла она посредине кладбища, еще более раннего. Кладбище не такое, как наше, конечно: повсюду глиняные вазы, сотни их, луг ими буквально утыкан, как иголками — подушечка. И никто ничего не замечал.

---

[11] Примечания: 11

Авиация сухопутных войск.

[12] Примечания: 12

Прямоугольное здание, расчлененное рядами колонн на ряд продольных галерей (нефов). В средние века базилики использовались как церкви.

[13] Примечания: 13

Христианство проникало в Англию из Рима, немного позднее из Ирландии. Седьмое столетие целиком охвачено процессом христианизации. Летопись отмечает примеры насильственного обращения в христианство.

Я должен был сообщить властям о моей находке. Конечно, я так и собирался сделать. Но не раньше, чем найду фундамент и кое-что выясню для себя. Местным вправлены мозги насчет того, что я ищу, и любой камень, который они увидят, для них — развалины коровника. Я уж с тобой делюсь, потому что ты сам и так сообразил бы. Тебе-то со своей верхотуры видно, чем я занимаюсь.

Да, у меня ни за что так не получилось бы. Брать деньги за одну работу, а делать другую!

— Меня совесть не мучит, — продолжал он, будто угадав мои мысли. — Ни капельки. В Ур ехать рано. Семьи у меня нет. Только сестра с зятем, но мы не ладим. Ну, то есть мы стараемся не лаяться. Но это не важно. Уверен — деньги Эдди на дело пошли. Я даже от нее не ожидал — как это она догадалась, что луг-то не простой.

Я, конечно, задним умом крепок, но потом до меня дошло, что, когда мы с ним разговаривали, он уже знал наверняка, где найдет могилу.

— Чего мы здесь торчим? — спросил он. — Пойдем, я чего-нибудь приготовлю.

Я сказал ему, что уже позавтракал.

— А, да ладно уж, — сказал он. — Мне можно не заливать, что свой тик ты получил на железной

дороге, так что сразу обменяемся кой-какими впечатлениями и выпьем по кружке. Обоим ведь приходится думать: «Господи, хоть бы не в последний раз». Да к тому же теперь твой черед рассказать о работе.

И мы пошли по его волшебному лугу к палатке. К моему удивлению, она стояла в яме.

— Как на острове, — сказал он. — К тому же чувствуешь себя доисторическим человеком, обожаю норы. Ты наверх по своей лестнице забираешься, а я в нору залажу… двое допотопных существ. Послушай, давай вечером выпьем в баре «Пастухи», познакомишься с местной публикой.

Я не ответил согласием, и он, видно, догадался, что у меня с деньгами туго, что Кич пока ничего мне не заплатил, и приглашения не повторил. Вместо этого он похлопал себя по левой ляжке и сказал:

— Я говорил тебе, что по ночам маюсь? Это не совсем точно: хожу с осколком, его из меня не выковыряли.

Пока мы беседовали, он кипятил чайник, потом разлил по кружкам чай, и мы вернулись к кладбищенской ограде.

— Вон там, слева от тебя, — небольшая впадина, — сказал он. — Нет, не видишь? Ничего,

поверь на слово, она есть, если бы трава была пониже, увидел бы. Приблизительно девять на пять футов, почти канонический размер, часть под стеной. Следовательно, ее перестраивали несколько раз.

Он посмотрел на меня. По моему лицу ему стало ясно, что я ничего не понял.

— Понимаешь, — сказал он, — они были не то что мы. У них мозги не так работали. Религия была магией. Они верили во все, о чем им говорили. Раз семья не сумела протащить его в церковь, они хоть поближе его пристроили. Даже если бы он был никто, они не бросили бы его на свалку, как дохлую кошку, а он вполне тянул на каменный саркофаг, который сохранится в целости и сохранности.

Он поскреб подбородок и задумчиво глянул на меня. Потом усмехнулся.

— Мы оба хороши, — сказал он. — Эксперты, черт побери. — Он сел, прислонясь спиной к стене.

Солнце уже взошло, кто-то шел по лугу… Может, Кич — проверить, как движется работа? Нет, не он.

— О Господи, это же полковник! — воскликнул Мун. — Бродит вокруг как неприкаянный. Не

уходи. Он так и так тебя достанет, даже на твоей верхотуре.

Полковник оказался высоким сутулым человеком, неряшливым, задумчивым, к таким на козе не подъедешь, такие даже вида не делают, что тебя слушают. Может, он был очень робкий и заставлял себя соваться в дела, которые его вовсе не интересовали. Может, его сестра, эта грозная Адела, была его путеводной звездой, а без нее он как без руля и ветрил?!

— Эй! — сказал он. — Здравствуйте! Ну-с, двигаемся помаленьку вперед, пробираемся к цели?

Мун, кажется, уже знал, чего от него ждут, он ничего не ответил, лишь изобразил на лице подобие некоего ответа. Мне очень понравилось это представление. Он к тому же встал, но насколько я помню, не для того, чтобы угодить полковнику, просто как бы само собой вышло, что он уже стоял.

Что до полковника, тот огляделся и, сам того не подозревая, пнул ногой предполагаемую могилу предка.

— Ох, — сказал он. — Да. Очень интересно. Хорошо, когда вы тут. Совсем другое ощущение. Оставайтесь сколько угодно. Дела, видно, идут. Ну, не буду мешать.

— Это мистер Беркин, полковник, — сказал Мун. — Он приехал просветить нас насчет того, что там над алтарной аркой.

Полковник взглянул на мои сапоги.

— Очень интересно, — сказал он. — И вы можете оставаться сколько угодно, Беркин. Не могли бы посудить нам по субботам? Моссоп говорит, он в эти дни не может. Да, с удовольствием бы еще остался. Может, как-нибудь в другое утро. Надо идти. Я скажу Моссопу, что вы согласились быть нашим судьей. Очень любезно с вашей стороны.

Он побрел прочь. Повернулся.

— Нашли что-нибудь примечательное, Мун? Предметы искусства? Едва ли золотые слитки?

Мун помрачнел, но, признав обоснованность расспросов, издал некий гортанный звук.

— Не обижайтесь, что спрашиваю. Просто выказываю интерес. Оставайтесь сколько вам будет угодно. — И он заковылял прочь.

Я так и не перемолвился с полковником ни единым словом. Он не играл никакой роли в том, что приключилось, пока я был в Оксгодби. По мне, хоть бы он и концы отдал, как только завернул за угол. Но ведь так почти со всеми бывает, верно? Тупо смотрим друг на друга. Вот я, вот ты. Зачем мы тут? И как ты думаешь: к чему это все? Хоро-

шо. Продолжим. Мой старший брат — на камине. Эту наволочку вышила моя кузина Сара всего за месяц до кончины. Я выхожу на работу в восемь, а в пять тридцать возвращаюсь. Когда я пойду на пенсию, мне подарят часы и выгравируют фамилию на крышке. Теперь ты знаешь обо мне все. И уходи, я уже про тебя забыл.

Обычно так начинались почти все дни — за кружкой чаю в землянке Муна, пока он выкуривал трубку, мы говорили мало. Я, бывало, спрашивал его, как идут дела, кто заглядывал к нему в нору; потом он спрашивал меня, как мои дела на верхотуре, кто приходил в церковь, и время от времени, между двумя затяжками, он задумчиво поглядывал на меня. Ну что ты за тип? Кого ты оставил дома на кухне? Что это с тобой там приключилось? Где это ты подхватил свой чудовищный тик? Пытаешься снова влезть в шкуру, которая была на тебе, пока тебя не сунули в мясорубку?!

Я читал эти вопросы на его лице, но не отвечал. Не от недостатка откровенности, а просто — что толку говорить? Мне твердили, что только время залечит раны, и я верил. Так или иначе, что было, то прошло, и в первые дни в Оксгодби я с головой ушел в работу. Меня била дрожь; может,

вы поймете мое состояние: ведь я не знал, что я расчищаю.

Средневековые фрески занесены в общедоступные каталоги. Тут три сластолюбца, предающихся любовным утехам, а потом претерпевающие муки адовы, тут Христофор [14], идущий вброд меж рыбин и русалок, с младенцем Христом на плече; Скучные святые девы, стоически претерпевающие дыбу, колесование, усекновение главы, эти располагаются обычно по стенам боковых нефов или над аркой нефа, но большое пространство между алтарной аркой и стропилами почти всегда отводится под Судилище Христово — под Страшный суд.

Что ж, весьма разумно. Большие труппы требуют большой сцены, а высокая стена вокруг мощной арки — самое подходящее место, чтобы запечатлеть Христа во Славе в самом центре — в замковом камне [15], изгибы арки изящно отделяют дивные фигуры праведников, шагающих со сцены на север, в Рай, от проклятых, летящих

---

[14] Примечания: 14

Святой Христофор (III в. н. э.) — христианский святой; по легенде, был великаном, переносил людей на руках через реки и водоемы, однажды перенес младенца Христа, поэтому и получил имя Христофора — «тот, кто перенес Христа». Заступник кузнецов и путешественников.

[15] Примечания: 15

Клинчатый камень, завершающий свод.

(обычно вверх тормашками) в адский огонь.

И я начал свой труд в Оксгодби с проверки моей догадки, попытавшись с помощью приставной лестницы найти замковый камень. Я его нашел. К концу второго дня обнаружилась прекрасная голова. Да, в самом деле, прекрасная голова, борода клином, свисающие усы, глаза с тяжелыми веками, в темных кругах. И на губах ни тени киновари — это говорило о мастерстве моего художника: как ни эффектна сперва киноварь, он-то знал, что лет через двадцать она почернеет на известке. А когда обозначились первые участки одежды, стали проступать всей синеве синева — ультрамарин и голубица — и масштабы художника подтвердились. Он, видно, в монастыре стибрил краску, ни одна сельская церковь не могла позволить себе таких расходов. (А монастыри нанимали самых лучших мастеров.) Но голова и лицо не оставляли никаких сомнений насчет его класса.

Бьюсь об заклад, итальянским мастерам было чему поучиться, глядя на эту голову. Это был не хрестоматийный, невыносимо возвышенный, неземной Христос. Это был суровый, грозный владыка, правосудие, да будет правосудие. Но

милости не будет [16]. Об этом кричала каждая деталь, и когда в конце недели я дошел до его поднятой правой руки, я увидел на ней след от гвоздя.

Таким был Христос из Оксгодби — непреклонным… даже угрожающим: «Вот моя рука. Вот что вы со мной сделали. И за это многие примут пытку, ибо вы пытали меня».

Мун тотчас же это понял.

— М-да, — пробурчал он. — Не хотел бы я сидеть на скамье подсудимых, когда он судит.

Паки грядущаго со славою
Судити живым и мертвым… [17]

И, лежа в своей постели воскресными утрами, слушая блеянье, доносившееся снизу, я видел его в полумраке, тогда как прихожане не видели его, и думал: тот ли он высокий гость, чьего прихода столь восторженно ожидают «Преподобный Кич и компания».

«Да! Как это там у вас говорится! Ты накормил Меня, когда Я алкал, напоил, когда Я жаждал?

---

[16] Примечания: 16

Ср. Псалтирь, 88, 15: «Правосудие и правота — основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем Твоим».

[17] Примечания: 17

Строки из символа веры.

Одел Меня, когда Я был наг, принял Меня, когда Я был странником, посетил, когда Я был болен, пришел ко Мне, когда Я был в темнице» [18].

Ну а насчет бедолаги Беркина, кто-нибудь из вас предложил ему кров и стол?

Да, добродетельные йоркширцы, а как насчет Тома Беркина — он ведь вчистую проигрался, нервы в клочья, жена сбежала, ни кола ни двора? Да, как насчет меня?

О, эти осуждающие глаза! «И ты тоже, Беркин! Не думай, я тебя не забыл. Ты поминал мое имя всуе под заградительным огнем в поле. За все-все тебе зачтется!»

Но самое удивительное для меня было другое. Вот передо мной из тьмы проступает безвестный художник, чтобы показать мне, на что он способен, говоря мне яснее всяких слов: «Коль весь я не умру, коль что-то тления избегнет — смотри: вот это я» [19].

Кейти Эллербек, первая из местных, заглянула полюбопытствовать, чем я занимаюсь. Это она глазела из окна начальника станции на мое

---

[18] Примечания: 18
Ср. Евангелие от Матфея, 25, 35—36.

[19] Примечания: 19
Парафраз стихотворения Горация «Памятник».

пальто и на меня; ей было четырнадцать лет, она заканчивала приходскую школу. Он была крупная для своего возраста, синеглазая, веснушчатая, смышленая. В те дни меня не раздражали дети, я ладил с ними почти со всеми. Мне доставляло удовольствие болтать с бойкими ребятками, и они это знали, им тоже нравилось со мной болтать — любили разговор разговора ради, как детишки часто любят мороженое.

Да, Кейти Эллербек принадлежала к этой редкой разновидности, к тому же у нее хватало ума понимать, что взаимная расположенность к беседе не может длиться вечно, и она умела поймать летучее мгновенье. Мы великолепно поняли друг друга, стоило ей открыть дверь.

— Приветик, — крикнула она. — Мистер Беркин, можно я поднимусь?

Я подошел к краю настила, посмотрел вниз и ответил, что держу за правило никого наверх не пускать. Железное правило, никаких любимчиков. Только мистер Мун. У нас с ним двустороннее соглашение — я спускаюсь в его нору, он забирается ко мне. Она знакома с мистером Муном? А откуда она знает мою фамилию?

Да, естественно, она знает мистера Муна, все в Оксгодби знают его, и хотя мне сюда не прихо-

дило писем, все узнали, что я мистер Т. Беркин: Мун оповестил. И я прав, он никого не пускает к себе в палатку, и никто не бывал в его норе. А что означает буква «Т»?

— Видишь ли, — сказал я. — Это флаг, вывеска. И еще наш союз. И явись сюда хоть король Георгий, ему придется на меня смотреть снизу, а на Муна только сверху. Никаких исключений. Мы вдвоем — нам надо советоваться по разным техническим вопросам, следить, как бы не обогнать друг друга.

Но я всегда готов беседовать с поклонниками искусства, даже благодарен бываю им за это, готов поддержать беседу, пока они расположены к ней и не сердятся, что я стою спиной, и выброси из головы эту самую «Т», девочки называют меня «мистер».

— Я видела, как вы с поезда сходили, — сказала она. — Дождь шел. Мой папа — мистер Эллербек, начальник станции. Папа сказал: «Этот парень с юга, он будет церковь реставрировать… только что приехал». Меня зовут Кейти Эллербек.

— А как твой отец меня узнал? — спросил я. — На мне же не висела табличка?

— Да ведь мы знаем почти всех, кто сходит с поезда, а если кого не знаем, так знаем встреча-

ющих. А насчет вас мистер Моссоп предупредил, что вы едете. И у вас внешность художника.

— Но я не художник, с чего ты взяла, что у меня внешность такая?

— Мы знаем, художникам плевать на свой вид, и это ваше пальто вас выдало. Меня папа послал справиться, как вы. Он сказал, что такого случая в нашей дыре больше и не представится — то есть наблюдать художника за работой.

— Послушай, сколько раз мне тебе повторять: я не художник. Я ремесленник, который реставрирует творения художников. И пальто мое вовсе ничего не обозначает — я ношу его, потому что у меня коленки мерзнут. Мерзнут же у других уши?!

Хорошо, что родители знали, где она. В конце концов, обо мне тут никому почти ничего не известно, а я могу себе представить, как в глуши все приобретает сексуальный налет, и даже когда речь не о чужой жене, так о маленьких девочках и мальчиках, и хуже того, о животных. Правда, отделявшая меня от моих посетителей лестница создавала некое препятствие их воображению. Но не такое уже неодолимое.

— Папа говорит, что у вас очень трудная работа — целый день один, даже словом пере-

молвиться не с кем.

— Ага, — сказал я загадочно.

— У нас в церкви на стене картина, — сказала она. — За кафедрой. Три большие лилии — аронники. Очень красивые.

— Почему?

— Что почему?

— Почему лилии? Почему просто лилии? Почему не лилии с розами или просто розы? Или розы и маргаритки?

— Под ними написано старинными буквами: «Посмотрите на лилии». Это текст.

— Странный текст для церкви. Едва ли ваши прихожане с ним согласятся.

«Посмотрите на полевые лилии, как они растут? Ни трудятся, ни прядут» [20]. Разве от вас не ждут усердия и трудолюбия? А тут — на тебе — в публичном месте призывают бить баклуши.

Она задумалась над моим замечанием, но, судя по всему, решила, что ответа оно не требует.

— Человек, который написал нам по трафарету эти слова, приехал из Йорка, — сказала она. — У него была с собой книжка с разными изречениями, подобающими к разным случаям. Маме

---

[20] Примечания: 20
Евангелие от Матфея, 6, 28.

понравилось одно, оно к розам относилось — *«В тени прохладной рощи Силоама»* [21]. Это гимн. Но в конце концов мистер Доутвейт с папой решили: раз картина у всех на виду, пусть это будут лилии.

— Почему же? — спросил я. — Почему же не розы?

— Не знаю я, — отрезала она рассердившись и сменила тему: — А что касается вас, ведь вы тут совсем один, папа сказал, что я могу оставить вам граммофон, вот здесь, под скамьей, а когда я буду к вам приходить, смогу ставить вам пластинки. Хоралы и соло церковные.

— Прекрасно, — сказал я. — А теперь хватит болтать, мне пора работать. Поставь что-нибудь.

Она завела граммофон, и сочное контральто стало выводить:

Непорочный серафим,

Осени крылом своим…

Нетрудно было вообразить вздымающуюся грудь и горящие глаза при выведении вибрирующей заключительной рулады.

— Ох, как трогательно! — крикнул я через

---

[21] Примечания: 21
Из стихотворения епископа Реджинальда Хебера (1783—1826).

плечо, когда пластинка кончилась. — Как раз уместно! Теперь буду каждый день встречать двоих-троих ангелов.

— Да, — ответила Кейти. — Очень трогательно. Хотите еще раз послушать или на другую сторону перевернуть?

Она перевернула, прокрутила «О, ради крыльев голубицы», «Забытая струна», «Святой город». Она была честная девочка и умная. Если бы ее забросило подальше от Оксгодби, если бы она оказалась в хорошем месте и среди хороших людей, она могла бы найти своего Перселла [22], а может Таллиса [23], и оказалась бы в конце концов у Бёрда [24]. Nunc dimittis [25].

Она откинулась назад, ее веснушчатое круглое личико сияло. Все ясно: она решила завоевать меня и оценивала свои шансы — я наверху, побег практически невозможен.

Потом она приходила почти каждый день,

---

[22] Примечания: 22
Генри Перселл (1659—1695) — английский композитор.

[23] Примечания: 23
Томас Таллис (ок. 1505—1585) — английский композитор.

[24] Примечания: 24
Уильям Бёрд (ок. 1543—1623) — английский композитор.

[25] Примечания: 25
Ныне отпущаеши (*лат.*). Ср. Евангелие от Луки, 2, 29.

иногда с младшим братом. У Эдгара были широко распахнутые, доверчивые глаза, говорил он исключительно в случае необходимости, чаще всего объясняясь с помощью острого локотка. Их матушка из их рассказов и с помощью наводящих вопросов выяснила, как они проводят со мной время, и обычно присылала что-нибудь из ее стряпни, — кроличий пирог, несколько пирожков с морковкой, две-три ватрушки. И потому за то время, что я там провел, восхищенному лондонцу было предложено меню северной кухни — яства, которые миссис Эллербек помогала готовить своей матушке, которая помогала готовить своей матушке, которая… Иногда я делился своими сокровищами с Муном, и он заметил, что кое-что из раскопок нам перепадает.

Как бы то ни было, вдохновленный этими щедротами, я начал лелеять надежду, что продержусь здесь до Рождества, если погода не станет слишком холодной, а Кич слишком агрессивным.

Прошло, похоже, дней девять-десять, прежде чем пришла миссис Кич (жена священника). Я работал не строго по часам, спускался вниз, когда хотел есть. А в разгар тех жарких августовских дней я обычно обходился двумя ломтями хлеба и

куском сыра уэнслидейла [26] и выходил поесть на воздух. По субботам и воскресеньям я покупал бутылку светлого пива, а в будни пил воду.

День, когда она пришла, выдался такой жаркий, что серый кот подпустил меня почти вплотную, и только потом спрыгнул с надгробного памятника Элиа Флетчеру в густую-густую траву, и побежал в куст ежевики. Я любил здесь сидеть над могилой Элиа за своей трапезой, поглядывая в ту сторону, где Мун разбил стоянку, отдаваясь всем существом лету, жадно впитывая летние запахи и летние звуки. Я уже чувствовал себя частицей здешних мест, а не сторонним наблюдателем, вроде случайного прохожего. Мне хотелось, чтоб люди в поле, завидя меня, признавали своим и говорили: «Этот парень — художник, работает тут у нас, на хлеб зарабатывает».

Я совсем осоловел, растянулся на каменной плите, прикрыв глаза носовым платком цвета хаки и, слегка прихрапывая (это уже наверняка), сладко заснул, Когда я проснулся, она стояла, прислонясь к серой оштукатуренной стене, и смотрела на меня. На ней было темно-розовое платье.

---

[26] Примечания: 26
Сыр типа рокфора, желтый, с синими прожилками.

— Вы давно здесь? — спросил я.

— Минут десять, может быть… Не знаю.

Она робела. Широкополая соломенная шляпа скрывала лицо, поэтому определить, сколько ей лет, мне не удалось. Несколько мгновений она стояла молча, взгляд ее блуждал по церкви, потом она перевела его на свободный полет бабочки «красный адмирал», пока та не распласталась на могильном камне, пришпиленная солнечным лучом к лишайнику. Я слез с надгробия и прислонился к нему — спросонья все еще не понимая, что к чему.

— Вам удобно на колокольне? — спросила она. — Может быть, что-нибудь принести? Вы хорошо спите? Я могу дать дорожный плед, мы в это время года им не пользуемся. Мой муж сказал, что вы пешком сюда пришли. От железнодорожной станции, я имею в виду. Вы не могли много на себе унести, поэтому подозреваю, что вы спите прямо на полу. Вы, вероятно, догадались, что я миссис Кич, жена священника, Алиса Кич.

Я успокоил ее, сказал, что у меня с собой спальный мешок, еще есть пальто на всякий пожарный случай, а подушкой мне служит мешок с сеном.

В солнечных лучах вновь закружила бабочка. Какое-то мгновение она, казалось, собиралась

сесть на розу, приколотую к шляпе миссис Кич, но передумала и улетела на луг. Жужжание пчел, перелетавших от цветка к цветку в поисках нектара, словно усугубляло тишину.

— Боюсь, вы сочли нас негостеприимными, — сказала она. — Мы-то все в своих постелях нежимся, а вы на голых досках.

Я ответил, что мне очень удобно на досках, я на таких условиях и поступал на работу. К концу дня я до того устаю, что мне не нужна пуховая перина, чтобы уснуть.

Я увидел показавшуюся в траве голову Муна: он выбрался на солнышко и начал медленный танец, разводя руки в стороны и подымая вверх. Я и раньше наблюдал его за этим занятием. Нет, ничего сногсшибательного он не нашел; он просто разминался после судороги.

— Все равно я принесу плед, — сказала Алиса и отошла от стены. Она сделала лишь несколько шагов, но оказалась совсем близко от меня, и я увидел, что она намного моложе Кича, ей не больше девятнадцати или двадцати, и еще я увидел, какая она красивая. Нет, не просто ничего себе, она была обворожительная. Шея в глубоком вырезе платья напомнила мне Боттичелли — не Венеру, а Примаверу. Отчасти благодаря дивному

овальному лицу, отчасти благодаря непринужденной изящной позе. Я достаточно нагляделся на живопись и умел распознать красоту, и вот здесь, в захолустье, она явилась передо мной.

— А когда мы сможем что-нибудь посмотреть? — спросила она.

Я сказал, что это как составная картинка-загадка — лицо, руки, ботинок, кусочек тут, кусочек там. И вдруг незаметно все сольется в единое целое.

— По крайней мере, так должно получиться. Но не мне вам напоминать, что за пятьдесят лет многое могло исчезнуть. Не поверю, что до меня никто не проходился по этой фреске, и боюсь, найду участки голой штукатурки.

— О, но ведь это так интересно! — сказала она. — Не знать, что ждет тебя через минуту! Наверное, это все равно что пакет с рождественским подарком открывать. Я непременно принесу вам плед, а вы позовите меня посмотреть, как части превращаются в целое, обещаете? Не сердитесь, если я стану вам иногда докучать своим присутствием… хорошо, мистер Беркин?

Она рассмеялась обворожительным веселым смехом, как… да, как колокольчик.

Потом она направилась к воротам, а я напра-

вился к своим лесам. Я стал думать о Киче и его жене, о том, какие разные люди встречаются, знакомятся, а потом живут годами вместе, десятки сотен раз смотрят друг на друга через обеденный стол и когда одеваются и раздеваются, шепчут в темноте, вскрикивают в волшебной агонии любовных объятий.

— Ба, да тебя проведала прекрасная Алиса! — заметил Мун, когда мы встретились вечером. — Я видел ее на церковном дворе. Вам, верно, есть что сказать друг другу. Не находишь, что она просто обворожительна? Ну на что это похоже, такой драгоценный камень, чистейшей голубой воды, упрятали в бездонные пещеры Оксгодби! Согласись, это ужасно!

— Да, она правда красавица, — сказал я. — На самом деле, просто редкая красавица. Хотя сама, возможно, об этом и не подозревает.

— Чепуха! — воскликнул он. — Каждая женщина это знает. И такую подцепил Кич! Безобразие! Такое же безобразие, как и то, какое устраивает общество, запрещая всем другим мужчинам даже приближаться к заветной черте после подписания соответствующего контракта. Жуть!

— Может, она счастлива с ним.

— Да ладно тебе! — сказал он. — Ты же видел

его. Чего там, ты же слышал его. Пошли в «Пастухи», пропустим по стаканчику за погубленную красоту.

Что ж, наверное, он был прав. Честно говоря, если Кич был действительно так отвратителен, как казалось с первого взгляда, невозможно было себе представить, каково с ним жить. Но, слава богу, Оксгодби не Багдад, муженек не мог заставить ее носить чадру, и потому другие мужчины могли останавливать свой восхищенный взор на его избраннице с глазами газели. Мы не торопясь шли по дороге, вдыхали запах сена, потом в сумерках проступили очертания стогов, и я думал о том, что любоваться Алисой Кич — уже чудо, буду жить надеждой, что она сдержит слово и станет наведываться посмотреть, как продвигается моя работа.

Вот уж поистине, Господи: краса Уффици [27] в Оксгодби!

Работа ладилась. Фреска моя так хорошо сохранилась, что я все больше проникался уверенностью, что ее сразу же, не прошло и сорока-пятидесяти лет, покрыли побелкой. Почему? Священник

---

[27] Примечания: 27

Знаменитая галерея во Флоренции, где собраны античные скульптуры и живопись.

обнаружил какую-нибудь погрешность канона? Местные богачи обиделись, вообразив сходство? Или староста-грамотей счел ее старомодной для своего прогрессивно мыслящего прихода? Думайте что угодно. Каждую неделю, уверен, где-нибудь в наших краях непременно вспыхивают жаркие споры о том, что кто-то хочет что-нибудь внести в сельскую церковь или из нее вынести.

И потом долгие столетия, каждые пятьдесят лет или около того, из-за копоти от свечей и лампад на фреску ложился еще один слой. И конечно, попозже старушка Бэнкдем-Кроутер внесла свою лепту, в порыве одного безумного утра вздувая столько копоти и грязи, что хватило бы на целое средневековое десятилетие. Ну, а когда я во всем этом разобрался, работа у меня пошла, и я сквозь годы и годы подбирался к фреске. Но может, это звучит слишком просто. Было трудно, а с каждым днем все легче.

В общем-то все сводилось к терпению. Первый ход — расчертить примерное пространство фрески на квадратные футы, а потом, как говорится, двигаться вперед, из одного квадрата в другой, расчищая лицо или руку. Что бы ни говорил хитрец Джо Уоттерсон по этому поводу, а вернуть фреску, написанную пятьсот лет тому назад, к из-

начальному виду просто невозможно. В лучшем случае я смогу создать нечто приблизительное, нечто похожее.

Ну и вот (на минутку забегая вперед) так все и шло — день за днем я торчал на лесах, переходил из одного угла в другой, отходил и приближался, ползал на коленях, лежал на боку, а когда не хватало терпения забираться по приставной лестнице, вытягивался на цыпочках. Словно окно на замаранной стене с каждым днем открывалось на пару футов пошире. Вам ведь знакомо чувство, которое испытываешь, когда мучительно трудная работа продвигается, потому что все делаешь как нужно, работаешь в ритме и испытываешь вдохновляющую уверенность, что все само собой разрешится и в конце концов все будет прекрасно. Да, именно — я знал, что делаю, а это и есть профессионализм.

Желание вывести на свет божий сцену Апокалипсиса, запечатленную давным-давно умершим художником, захватило меня целиком. Огромная людская пирамида, расщепленная аркой! Сразу после первого налета на фреску я живо представил себе всю компанию: судья и его пристав, под ними три богача (смотри Нагорную проповедь) — сперва в пышном убранстве, затем в отблеске

преисподней и, наконец, толпа: мирно вышагивающие направо в Рай или с воплями летящие в геенну огненную.

Даже когда я не работал, я неустанно думал об этой мощной цветовой стихии. Особенно первые две-три недели, когда меня отвлекал только Мун. Но потом неотвратимо, как бывает почти со всеми, сначала во время субботних партий в крикет, потом в часы воскресной службы в церкви уэслианцев, меня начала затягивать меняющаяся картина самого Оксгодби. Но странно, происходившее вокруг казалось мне сном. А реальностью было то, что происходило внутри тихой церкви, перед проступающей фреской. Все остальное проплывало мимо. Я уже сказал — как во сне. Но длилось это недолго.

Однажды Кейти Эллербек пришла пригласить меня на обед.

— Мама говорит, что она просит вас прийти к нам в воскресенье на обед, — выкрикнула она мне наверх. — Она говорит, что теперь наша очередь наступила, — к нам проповедник мистер Джаггер из Норталлертона приедет, а мы ему неровня, но она говорит, что вы двое быстро поладите. Хотите — можете долго не сидеть, мистер Джаггер как отобедает, его препроводят в залу

спать до ужина. А хотите — можете пойти с Эдгаром и со мной в воскресную школу.

— Я староват для этого, — отозвался я, — для воскресной школы, я имею в виду. Хотя мне, может быть, и не помешало бы.

— А вы можете подождать во дворе, на лужайке есть скамейка. Или помочь мистеру Доутвейту, он вам своих шизиков подбросит. Ну, а потом можно будет вернуться к нам, поужинать, чаю попить и продолжить ваши беседы с мистером Джаггером. Зато ужин самому не придется готовить, да и сэкономите денежки. Мама говорит, вы все один бродите, как лунатик, вас нужно на люди вытащить. Только не надевайте своего пальто, если дождя не будет.

Она была очень четкая девочка, говорила как по писаному, так что в воскресенье я из кожи вон лез — старался выглядеть поприличнее, чтобы не подвести ее, пришел точно в назначенное время, и мы почти без промедлений уселись вокруг накрахмаленной скатерти. Мистер Эллербек затянул невыносимо длинную обеденную молитву. Я при всем старании не мог поверить, что обычно его сотрапезники позволяют ему в таких подробностях живописать щедроты Господа и собственную безмерную благодарность Всевыш-

нему за то, что он обратил на него взор Свой; так что он старался, безусловно, ради коллеги, мистера Джаггера.

Я потом частенько вспоминал то давнишнее воскресенье и все думал, отчего это люди с пышными усами так мастерски декламируют молитвы. Ибо начальник станции явно находился в очень милых отношениях со своим Создателем (он обращался к нему как к закадычному бесценному другу), сам имея великолепные пышные усы. Тогда как молитва мистера Джаггера, которую он произнес перед чаем, была жалостная и скомканная. Я вспоминаю, что его-то усы были очень коротко стрижены.

Нам принесли жирные пышки с луковой подливкой, Эллербек подал сигнал к началу трапезы, заткнув крахмальную салфетку за стоячий воротник, и я, смекнув, что таков, должно быть, ритуал этих мест, последовал его примеру. Жарища была нестерпимая, пот со всех нас катил ручьями.

За столом у Эллербеков беседа не клеилась. Хорошо, что было чем заняться — мы дружно начали опустошать тарелки, в полной тишине, которую нарушал лишь грохот ложки Эдгара да чье-нибудь чмоканье или подавленная отрыжка. Прелюдией к главному и, как я обнаружил,

заключительному блюду явилось виртуозное смачное соло на длинном ноже и вилке, которым Эллербек предварил церемонию разрезания отменного филея. Он исполнял свой номер со страстью и, как подобает подлинному артисту, замечал впечатление, которое производил на зачарованных зрителей, ибо, подмигнув, скромно пробормотал:

— Мой отец был мясником, мистер Беркин.

Но мистер Джаггер тоже оказался виртуозом и, не отставая от нас в поглощении еды, умудрился прочитать лекцию о мастерстве Томаса Харди, большинство нравственных повествований которого он не единожды, как заверил нас, перечел. Он был столь уверенный и знающий себе цену оратор, что достаточно было редким кивком подтверждать свой к нему интерес, поэтому я мог оглядеться и рассмотреть заставленную мебелью комнату.

Она, в основном, состояла из квадратного, приземистого стола, за которым мы сидели, буквально заполонивших узкий проход стульев, мимо которых домочадцам Эллербека приходилось каждый день протискиваться, печи-камина с черной решеткой и полированного буфета. На стене висели часы с маятником, гастрономи-

ческий календарь, изображающий пожилую даму среди своих сокровищ в комнате, как две капли воды похожей на ту, где нас принимали, две огромные картины в импозантных рамах, из которых одна запечатлела осажденный гарнизон Лакноу [28] — солдаты в позах, изображающих отчаяние и (в отличие от зрителя) неведение, что близится подмога, а другая иллюстрировала разнообразные несчастья, причиняемые алкоголем. Оба полотна буквально набиты деталями, что располагало к долгим годам вдумчивого изучения.

Главным украшением комнаты была керосиновая лампа, спускавшаяся с потолка на четырех бронзовых цепях. Скрепя сердце я признал, что ее великолепие затмило мою красотку Бэнкдем-Кроутер. У нее было два краника и выключатель, с помощью которого можно было мгновенно прикрутить пламя, если оно начнет коптить, красивый розового хрусталя резервуар для керосина, простого стекла колпак и светонепроницаемый шар вокруг него, чтобы очаг Эллербека освещал ровный мягкий свет.

---

[28] Примечания: 28

Лакноу — город на севере Индии, в 1857 г. англичане выдержали осаду Лакноу во время крупнейшего антиколониального восстания 1857—1859 гг., которое было жестоко подавлено.

— Мне ее завещала моя тетушка Роза, мистер Беркин, — сказал начальник станции, воспользовавшись неожиданной паузой в гневных филиппиках мистера Джаггера по адресу Энджела Клера за его недостойные поступки по отношению к Тэсс д'Эрбервилль [29]. — Это ее воля была, чтобы лампа ко мне перешла. Сейчас такую не купишь — бронзовая вся, даже цепи.

Мне захотелось воспарить и разглядеть ее поближе. С точки зрения технологии она, конечно, была гораздо примитивнее, чем моя церковная печурка, но в эстетическом плане она была классом повыше. Наблюдая, как я буквально разгораюсь от интереса к его лампе, не без оснований сочтя, что другой гость злоупотребляет всеобщим вниманием, мистер Эллербек пригласил меня наведаться в его станционную ламповую, за которую он был награжден специальной грамотой начальника железной дороги Англии, когда во время ежегодной инспекции со своими подчиненными остановился в Оксгодби.

— На неделе, конечно, — добавил он. — Я имею в виду — приходите ко мне.

— Районный управляющий по делам перевозок

---

[29] Примечания: 29

См. Томас Харди. «Тэсс из рода д'Эрбервиллей». М., 1970.

сказал папе, что он мог бы есть с пола ламповой, — сказала Кейти.

Я представил себе, как эти важные особы из Йорка, заткнув крахмальные салфетки за стоячие воротнички, пиршествуют (взяв напрокат в каком-нибудь ресторане первого разряда посеребренные приборы) среди ламп и канистр с керосином у мистера Эллербека, и даже забыл о висячей фамильной реликвии. А мистер Джаггер, молниеносно воспользовавшись нашими воспоминаниями о том, как награждали и поздравляли мистера Эллербека, тотчас вклинился в наши дружные ряды силами литературы и успел представить нам страдания бедной осужденной Тэсс, пока самого его по справедливости не заточили до ужина в гостиной.

Потом я покорно отправился в воскресную школу, куда, как я и опасался, директор, мистер Доутвейт (деревенский кузнец), загнал трех: лоботрясов, которые (как он выразился) «нуждаются в особом внимании». Он тут же смылся, а я, тотчас обнаружив, что послание св. Павла в какой-то ближневосточный город не воспламеняет сердца моих подопечных, разрешил одному из них научить меня продергиванию соломинки в петельку от пуговицы, покуда второй серьезно

расспрашивал меня о природе тех опасностей, которые, как его предупреждали, подстерегали его, едва он окажется в Лондоне. Я, должно быть, оправдал надежды кузнеца, ибо он завербовал меня на все оставшиеся воскресенья.

Когда мы брели назад на железнодорожную станцию, стало еще жарче.

— Давайте заглянем к Эмилии Клоу, она умирает от чахотки, — сказала Кейти. — Подарим ей васильки, которые Эдгар собрал для мамы.

Ее брат, поняв, что мольбы и угрозы не спасут его и с васильками придется расстаться, надеялся, однако, что удовольствие посмотреть на умирающую Эмилию окажется достойным его жертвы. Мы шли не торопясь под ветвями садовых деревьев, нависающими над живыми изгородями, наконец очутились у кирпичного домика фасадом к пыльной дороге и с трех сторон окруженного фруктовым садом, где стояли три-четыре денника.

Дверь была распахнута, прямо у входа была лестница, ведущая наверх.

— Мы принесли Эмилии цветов, которые Эдгар собрал для нее, миссис Клоу! — крикнула Кейти, и голос из глубины комнаты пригласил нас войти:

— А мы гадали, зайдет к нам кто по дороге до-

мой из храма. Когда будете уходить, получите печенье с джемом.

— Я принесла тебе, Эмилия, твой дневник, — сказала Кейти. — Мистер Доутвейт проставил в нем букву «З», то есть заболела. «З» ведь еще обозначает звезду. — Она пробежала пальчиками по обложке. — Тебе надо еще только шесть звездочек получить, и тебе вручат премию, — сказала она.

— Или еще «З», — прибавил Эдгар ободряюще.

— Я все думаю, какую мне книжку почитать, — сказала Эмилия. — Мне понравился «Забытый сад» [30]. Может, попросишь мистера Доутвейта посмотреть что-нибудь еще этого автора, когда он поедет в Йорк подарки покупать?

— У меня есть «Коралловый остров», а у Эдгара — «Дети нового леса».

— Не рановато ли? — спросил я.

— Ничего, потом понравится, — ответила Кейти. — Мне рассказывали там про двух девочек. Эмилия, это мистер Беркин, который поселился в церкви.

— Я слышала о вас, — сказала умирающая. — Мне хочется посмотреть, что вы там делаете,

---

[30] Примечания: 30

Роберт Баллантайн (1825—1894) — английский детский писатель, автор трех упомянутых книг. Интересно, что сюжет «Кораллового острова» был использован Уильямом Голдингом в романе «Повелитель мух».

когда я выздоровлю, вы еще, надеюсь, не уедете, мистер Беркин.

Под окном росла яблоня, ветви вламывались в комнату. Сквозь листву пробивался золотистый свет. От жары примолкли птицы. Тяжесть летнего зноя придавила меня. Брат с сестрой неотрывно смотрели на бледную девочку, взрослому подобное любопытство непростительно.

— Кто сегодня был в церкви? — спросила она. — Скажи, кто был?

Она внимательно слушала, пока Кейти перечисляла. Еще в начале весны она небось бегала с кем-нибудь из них по оврагам, лазала по заборам.

— А какие гимны пели? — спросила она. — Мне нравится «Ты в своем укромном уголке, а я в своем», — добавила она. — Это мой любимый, но для лета он не подходит. Он такой уютный, я сразу представляю себе зиму и темные ночи и как я спать ложусь, забравшись под одеяло с грелкой. Ой, как мне нравится твоя соломенная шляпка, Кейти! Дай примерить!

Красные ленты пламенели возле бледного лица. Она повернулась к зеркалу, и глаза у нее просияли.

— По-моему, мне идет, — сказала она. — Мне

нравятся шляпки. В воскресной школе еще и потому весело, что туда шляпку надевать надо.

— Вот в другой раз придешь, и наша Кейти тебе ее даст, — дерзко сказал Эдгар: это, безусловно, была косвенная месть.

Эмилия не ответила. Как ни странно, она повернулась ко мне, и наши взгляды встретились. Потом мы проследовали вниз и полакомились печеньем с джемом. Когда мы снова двинулись в путь и Эдгар снова стал собирать васильки, Кейти сказала:

— Она знает, что умрет, да? Вы зайдете к нам выпить чаю? Мама велела, чтоб вы пришли.

Наступил день, когда я истратил свой последний шиллинг, а Кич и не думал раскошеливаться. Нет, он не забыл, не такой он был человек, он хотел, чтобы я его просил, вот отчего я бесновался. Но когда я отправился к деревенскому бакалейщику и обнаружил, что у меня даже пенса нет на «Дейли мейл», мне оставалось только сдаться.

Его дом оказался в роще. Конечно, его не строили в лесу: молодые фруктовые деревца, посаженные предыдущим священником, превратились в мощные, разросшиеся дерева, подлесок захватил лужайки и цветочные клумбы, когда-то здесь, очевидно, разбитые. Подъездная аллея пре-

вратилась в темный зеленый туннель, которым я пробирался, шаркая башмаками, вспугивая лесных голубей, взметавшихся с веток в небо. На повороте я наткнулся на зайца, удивленно воззрившегося на меня. Сойка пересекла аллею. Сойка! А ведь я только в книжках ее раньше видел. Да тут просто новый Рай!

Дом стоял на поляне, но дорогу вокруг него, служившую когда-то для экипажей, перегородил большой старый поваленный кедр, вздымающий кривые корни, как скалы, и защищающий огромный сад, поросший бурьяном. Когда-то белые кирпичи стен приобрели неприятный зеленоватый оттенок и казались сырыми, окна почти все закрыты ставнями, и квадратная строгость дома смягчалась лишь крыльцом с двумя колоннами. Приблизившись к нему, я увидел миниатюрный эстамп с блеклыми контурами гор и озера, отороченный красным плюшем, — вроде тех странных безделиц, которые викторианцы ставили на решетку нетопящихся каминов. Пока я стучался и дергал колокольчик, я тщетно пытался угадать значение столь неуместного здесь украшения.

Я еще несколько раз воспитанно подергал колокольчик, но ответа не последовало, и не будь я без пенса в кармане, я бы ушел. Но, в конце концов

рассвирепев, я дернул изо всех сил. Проволока длиною почти в шесть дюймов показалась из прорези и стрельнула, как катапульта. В глубине дома забренчал колокольчик. Как дальний смех. Да, на минуту мне и правда показалось, что это смеются надо мной. Может, миссис Кич?

Со смутным чувством вины я огляделся. Было довольно неприятно, и я подумал, что, проберись ночью в дом искушенный читатель романов, он застал бы там полчище разбойников, явившихся отобрать зеленые глаза маленьких желтых божков, украденных беспутным братцем священника. Что же до самого дома, то в нем свободно могла разместиться семья из десяти человек вместе с кучером, поваром, горничными и прочее. Но яснее ясного — Кич не мог себе позволить даже садовника.

Открылась дверь, выкрашенная белой краской, и выглянула Алиса Кич. Глаза у нее были темнее и больше, чем они мне запомнились. Когда мы виделись с ней на церковном дворе, она была холодна и сдержанна, а тут у себя дома была нервна, и не успел я спросить, можно ли мне переговорить с ее мужем, как она выскочила на крыльцо и пустилась в довольно бурный монолог о здешней жизни, будто по ошибке приняла меня

за епархиального чиновника, обследующего быт духовенства. Кажется, она была из тех робких людей, которые, если их заранее предупредить, умеют хорохориться, но если застать врасплох, совершенно теряют самообладание.

Поразительно! Мне, практически незнакомому человеку, она рассказала о мучительном ночном кошмаре — как деревья смыкают над ней ветви, сначала зловеще раскачиваясь, потом вырвав из земли корни, движутся, сходятся и только в последнюю минуту остаются за стенами дома. Она задыхается в тяжелом воздухе, и вот уже нечем дышать, как в камере сжатия. Мне передался ее ужас. Да, да, говорил я ей, я понимаю эти страхи, я так же мучился, когда взрывались большие мины, весь воздух в окопе сначала исчезает, а потом он на тебя обрушивается, дикое ощущение. Уверен, она не слышала меня.

Она наконец взяла себя в руки. Мне удалось вставить, что я хотел бы переговорить с ее мужем, и мы двинулись по каменным плитам довольно длинного коридора, минуя несколько непомерно огромных дверей… Она открыла одну из них. В комнате с двумя большими окнами, затененными внутри ставнями, был только крошечный камин и — ничего больше. Такой она

была, очевидно, когда они въехали в дом, и такой останется, когда снова приедут автофургоны за мебелью. Мы шли по коридору, и она, прикасаясь к каждой двери, приговаривала:

— И эта тоже… такая же.

Столовая в конце коридора была вытянутая, с высоким потолком, с четырьмя окнами без занавесок, почти во всю высоту стены — от плинтуса до потолка. В любом нормальном доме первое, что бросается в глаза, это мебель, картины, зеркала, безделушки, дорогие сердцу хозяев. Но эта комната поражала своей пустотой. Пол был голым, не совсем, конечно, голым — кое-где лежали узкие половики. Три стены тоже были пустыми, а к четвертой был прислонен какой-то огромный предмет, вроде внутреннего контрфорса. В обычной комнате это выглядело бы нелепо, а здесь казалось естественным. Понятия не имею, что это было. Может, барочный алтарь, трон восточного владыки, гигантское сооружение подмастерья-краснодеревщика. А может, ни то, ни другое, ни третье. Может, просто причуда. Интересно бы рассмотреть поближе — ведь, по-моему, почти все предметы имеют хоть какое-то назначение.

— Это свекор купил на распродаже. Никто не хотел брать. Он заплатил только за доставку. На-

деялся хоть как-то комнату заполнить, — сказала миссис Кич. — Даже не знаем, что это такое. По правде сказать, мы думаем, тут недостает каких-то деталей.

Комната была построена для гигантов, и самого Кича я заметил в последнюю очередь, он сидел на жестком стуле у шаткого пюпитра — должно быть, играл на скрипке, которая теперь лежала на маленьком столике. Как ни странно, его совсем не смутил истерический монолог его жены о тяготах их быта, напротив, он внимательно слушал, будто сам тоже в первый раз все это слышал; мне показалось, что они закупорили свои неприятности до тех пор, пока не придет кто-нибудь со стороны. Я оторопел, ведь я и не подозревал, что в огромном доме может быть то же вопиющее убожество, что и в каморке, и только мысль о том, что у меня-то вовсе нет никакого дома, кроме временного жилья на колокольне, спасла меня от черной меланхолии.

И вдруг… Алиса замолчала, и они оба в ужасе стали смотреть на что-то позади меня. Не вру, у меня волосы на затылке встали дыбом, я через силу заставил себя обернуться, не на шутку испугался. И увидел… кота. Но крупнее и злее кота я в жизни своей не видывал. Он зажал в зубах трепе-

тавшего певчего дрозда и злобно разглядывал нас через окно. Потом он спрыгнул назад в буйные заросли травы и вереска.

В результате Кич предложил мне продолжить осмотр дома.

На лестнице не было ковра, даже площадка первого этажа была голая.

— Пустая, — говорил священник, постукивая по дверям, которые он выбирал по своему усмотрению.

Ванная была огромная, в прошлом спальня. В углу стояла маленькая крашеная железная ванна, со ржавыми подтеками под обоими кранами. Там же стояли таз для умывания, естественно, подставка для полотенец, но все это подавляла цистерна, настолько огромная, что ее поддерживали не только железные скобы, вмонтированные в стену, но и два крашеных железных столба.

— В понедельник вечером приходит Моссоп, — объяснил Кич, — и набирает нам воды из колодца, что позади дома, нам хватает до четверга.

— Если экономить, — вставила его жена.

Никто не удосужился объяснить, как они управляются в остальные дни недели.

Мы перешли в другую большую комнату: в ней ничего не было, кроме алтаря под покрывалом

для постели. Перед ним на полу лежали две подушечки для колен. В соседней комнате оказалось чуть побольше мебели — крошечный письменный стол и дешевый маленький книжный шкаф. На ломберном столике возвышалась груда стираного белья — ее приготовили гладить, у пустой каминной решетки стояла вешалка для одежды.

— Посмотрите! — воскликнула миссис Кич, показав на окно: на стекло огромными пятернями налипли фиговые листья.

— У Алисы вечно фантазии, — пробурчал супруг.

Этот утюг и груда белья поразили меня. Они притулились друг к другу в пустыне дома, ища утешения. Никому неохота маяться в одиночестве в таком гиблом месте, подумал я. Но вне этих стен супруги Кич совсем другие люди.

Кич показал на потолок.

— Чердак, — сказал он и с усмешкой добавил: — И еще тут целая анфилада погребов.

Мы спустились вниз, и мне предложили чашку кофе, но я ответил, что мне пора уходить. Честно — я дождаться не мог, когда вырвусь на воздух, дом навис надо мной тяжелой тенью. Нехорошо, что их сюда занесло. Но, похоже, оба готовы сбросить с себя его тяжесть, как плащ. Алиса Кич дома

была нервная, одержимая, а вне его стен — очаровательная, собранная, уравновешенная. Что до ее супруга, то, пока мы снова не встретились с ним, мне было его очень жаль.

Она вышла со мной на полянку и остановилась у розового куста, буйно разросшегося над гравием.

— Сара ван Флит, — сказала она. Цветы были бледно-розовые, не махровые. — Старый сорт. Осторожно! Острые шипы. И все еще цветет. Вот увидите — до осени будет цвести. — Она улыбнулась. — Даже если вам не доведется нас больше навестить, вы сможете убедиться, я обычно Сару ван Флит к своей шляпе прикалываю. Вот, возьмите.

В конце дня, когда под нажимом Муна мы отправились к «Пастухам», я вспомнил, зачем я ходил. Но, как бы там ни было, на следующий день появился Моссоп с конвертом, в него были вложены две смятые фунтовые банкноты и счет, который мне надлежало подписать.

Эта роза, Сара ван Флит… Я все еще храню ее. В книге. В моем учебнике Баннистера-Флетчера, между прочим. Когда-нибудь, принеся книгу с аукциона, незнакомец обнаружит, листая страницы, цветок и удивится.

Как много было у меня времени тем волшебным летом! Изо дня в день с луга подымался туман, небо светлело, и проступали очертания изгородей, амбаров и леса, а потом наконец на фоне долины вырисовывалась длинная кривая линия холмов. Как фокусы на эстраде: «Сейчас вы ничего не видите, видеть-то нечего. А теперь смотрите!» Так было всякий раз, изо дня в день, и каждое утро, прислонясь к воротам, затянувшись первой сигаретой, я (хотелось бы думать) восторгался этим великолепным задником. Но нет, не похоже, я же не из восторженных. Или тогда был? Одно точно — я был бесконечно доволен, и, если я вообще о чем-нибудь думал, так о том, что хорошо бы все так и шло — никто бы не приходил, никто бы не уходил, осень с зимой застряли бы где-то за углом, лето в своем зените длилось бы всегда и чтобы мне тихомолком идти тропинкой своей (как до меня уже, кажется, писал кто-то) [31].

Дни по-прежнему начинались одинаково. Я кипятил чайник, поджаривал пару кусков ветчины и круглый хлеб, выливал остатки старого чая в заросли крапивы. Потом спускался и шел туда, где росла сирень (бросив исподтишка взгляд на

[31] Примечания: 31

Ср. строки из «Сельского кладбища» Томаса Грея (1716—1771): «Они тихомолком брели по тропинке своей» (перев. *В. Жуковского*).

косу), а потом брился, расположившись у надгробия Элиа Флетчеру, как за туалетным столиком. К тому времени Мун уже подавал признаки жизни — ждал, когда мы пропустим по кружке чаю. Мы взяли себе за правило не приступать к работе, пока не прозвонит звонок в начальной школе.

Зато, уж взявшись за дело, мы вкалывали до шести-семи вечера — с коротким перекуром. Взобравшись на леса, я начинал выслеживать свою дичь (если это не слишком художественно звучит), все сперва выверяя в уме, потому что в моем ремесле нет второй попытки. Да, ей-богу, я сидел скрестив ноги, как готтентот, и несколько минут обдумывал работу на весь день.

Ну и вот, пару дней спустя после моего визита к Кичам, когда я сидел в позе готтентота, как обычно, с шумом прибежала Кейти Эллербек.

— Эй вы там, мистер Беркин, привет! — крикнула она. — Я не собираюсь вам мешать, — сказала она и села на скамью под лучами солнца.

— Мне всегда так говорят, перед тем как и в самом деле начинают мешать, — сказал я. — Так что валяй, что там у тебя, а потом я продолжу свои занятия. Почему ты не в школе? И почему сегодня школьный звонок не звонил?

— У нас каникулы, — закричала она. — На

месяц.

— Слишком долго, — сказал я. — Но ты можешь маме помогать по дому.

— Мама говорит, что в ум никак не возьмет, как вы умудряетесь зарабатывать себе на жизнь, — сказала Кейти. — Она говорит, что не так уже много на церковных стенах замазанных картин.

— А мне много и не надо, — сказал я.

— Много чего?

— Много на жизнь. Ты ведь об этом говоришь?

— Да, — ответила она. — А почему бы вам не переменить работу и не остаться в Оксгодби?

А на что же в таком случае мне жить прикажешь? — спросил я у нее. Может, она считает, что ее папочка наймет меня носильщиком на станции?

— Нет, — ответила она. — Носильщику не надо такого образования, как у вас.

— Тогда на что я буду жить? — спросил я.

— Можно в муниципалитет пойти налоговым инспектором или в школу учителем — вы же учились в колледже.

В колледже, да не в том, ответил я.

— А я спрашивала у мисс Уинтерсгилл, она говорит: раз ты учился в средней школе, ты можешь быть простым учителем, если вобьешь себе

в голову, что директором тебе не бывать.

И когда я заметил, что ей, видно, хочется, чтобы я остался в Оксгодби, она объяснила, что я очень понравился ее родителям, да и другие ее знакомые будут по мне скучать, потому что я произвел очень хорошее впечатление своими нововведениями в воскресной школе и тем, какие лишения я претерпеваю на колокольне.

— О, в таком случае я обдумаю твое предложение, — ответил я. — Учителем, говоришь? С палкой за шкафом? Нотации детям читать? Ты можешь себе это представить?

— Нет, — согласилась она. — Но я бы, наверно, привыкла. И вы тоже, если бы настроились. Папа говорит: любой человек на любой поступок способен, если настроится на нужный лад.

— Договорились! — сказал я. — По рукам. Я как следует об этом подумаю, я рад, что обо мне здесь высокого мнения. Когда-нибудь будешь хвастать: «Это я в детстве уговорила его поменять профессию, он всем обязан мне». Но пока что мне надо думать о своем жалованье, которое — чует мое сердце — мистер Кич со дня на день мне вручит.

Так мы болтали, а когда я после затянувшейся паузы посмотрел вниз, то увидел, что ее уже нет.

Но она подрубила корень, на котором зижде-

лось мое чувство собственного достоинства: неужели мы должны отчитываться перед другими, даже перед достопочтенными Эллербеками, о нравственном смысле своего труда? Наша работа — это наша личная фантазия, наше укрытие, одежда, в которую мы прячемся. Но чтобы тебя дважды в неделю в чем-то уличали — это уж слишком, а меня уличили.

Алиса Кич тоже всегда оставалась внизу. Она осторожно приоткрывала дверь, садилась на скамью в заднем ряду и пряталась за широкими полями своей соломенной шляпки (с розой на ленте). В церкви была тишина, разве что изредка скрипели доски, когда я отступал на шаг посмотреть на свою работу, и хотя я был от Алисы футах в тридцати и стоял к ней спиной, мы беседовали непринужденно, как в небольшой гостиной. Нет, не в принятом стиле, так, только фраза, вопрос, ответ, восклицание. Да мне и не надо было смотреть на нее, по интонации я угадывал выражение лица.

— Как это вы занялись таким ремеслом, мистер Беркин? — (Лукавая улыбка на губах, притворно-невинный взгляд). — Я хочу спросить: как вы узнали про это ремесло? Это наследственное?

(Видела бы она моего папу в конторе фабрики

туалетного мыла, укладывающего образцы мыла в кожаный саквояж!)

— Да, в каком-то смысле вы правы, миссис Кич. Как же вы догадливы. Мы занимались чисткой и мытьем.

— Как интересно! И вы ездили с отцом, чтобы узнать все тонкости?

— О нет, никогда. Он терпеть не мог ездить с кем-нибудь. Он страшно психовал. Домой возвращался всегда в жутком настроении. Не разговаривал ни с кем. Прямиком уходил в сад. Даже шапку не снимал. Порежет, порубит что-нибудь в саду, глядишь, успокоится. Мама вечно за свои розы дрожала. Самое страшное первые десять минут, чего угодно можно было ждать. Нрав, знаете ли, дело такое. У всех художников нрав.

(Я как раз обрабатывал трех братьев — смотри Матфея, V главу [32], — блаженно не ведающих о грядущем Суде. Плащ второго вельможи был великолепен — алый, с зеленым подбоем. Очень хороший алый цвет, правда, самый лучший, не жаль никаких денег — цинковый красно-кровяной, только не путайте с той краской, что некоторые болваны называют цинковой крас-

[32] Примечания: 32
Евангелие от Матфея, 5, 22—24.

ной, то есть с красной земляной краской, которую возят кораблями с Понта Эвксинского [33], и не спрашивайте меня, где это. Красная земляная краска темнеет, не успеешь отвернуться, зато долго держится, и больше нечего сказать в ее пользу. Собственно, на сырых стенах только она и держится. Да, так насчет плаща того парня. Краска была на камеди, значит, не могла потечь. В Бойтоне, в Гиффордской часовне, в рубленом камне нашли раковину с этой спекшейся краской.)

Да, такова жизнь, никуда не денешься — за качество так или иначе надо платить. (Винни была высшего качества, и я заплатил сполна.)

— Мне отсюда плохо видно, мистер Беркин. Пожалуйста, скажите, вы сейчас что делаете?

— Я поправляю плащ на вельможе, как камердинер.

— Он очень грязный?

— Очень! От сальных свечей на него всякая дрянь садится. Вы, современные женщины, даже не знаете, как вам повезло.

(Ну как тут не завопить, удержаться… это слишком… но когда так вот… вдруг догадаешься, как

---

[33] Примечания: 33
Название Черного моря в древности.

было раньше. Я что имею в виду — найти дорогу назад, к средним векам, задачка не из легких. Они ведь это не мы — в маскарадных костюмах, без конца произносящие: «поелику, понеже, иже с ним». Они и утех особых не знали, чтобы отвлечь свои мысли от смерти и рождения, сна и работы, от молитв Всевышнему и его побиваемому сыну, когда совсем худо становилось. И в моем ремесле не вредно вдыхать запах свечей, дрожащих на сквозняке; ходатайствуя о душах грешников, увидеть, как их дым курился среди фигур, что ты расчищаешь, как сгущался под сводами нефа и оседал на рельефах, чернил камень так высоко, что не добраться.

Может, это покажется сентиментальной натяжкой, но я правда так думаю. Если представить всех, кто приходили и уходили с восхода до заката, падали ниц, склоняли головы, тыкали себе в лоб пальцами, только что вытащенными из кастрюль, их чумазые лица, неотрывно смотревшие на эту одну-единственную картину, чтобы завтра увидеть опять только ее, то кой-чего подбавляешь в свою работу, кроме соляной кислоты, и работаешь с настроением.)

— Мистер Беркин… мистер Беркин… это масло, или акварель, или что там еще, ради Христа?!

— Тут всего понемножку, миссис Кич. Во-первых, бистер по четыре шиллинга четыре пенса за фунт; во-вторых, мешок яри-медянки за двенадцать пенсов; в-третьих, красная охра, три фунта по пенсу каждый; потом еще три пека муки… думаю, можно считать это темперой. Не забудьте еще саму стенку — она на вредный юг смотрит, так вот нижняя часть покрыта меловым раствором на снятом молоке, что прихожане пожертвовали, а наверху гашеная известь отсырела как раз настолько, чтобы ее схватило. Приблизительно так.

— Вы смеетесь надо мной. Я не такая дура. Мне моя тетя однажды подарила краски в день рождения, помню, там была дивная пурпурная краска. — И засмеялась, будто колокольчик зазвенел.

— Я не смеюсь над вами, миссис Кич. Спросите мистера Доутвейта, кузнеца, он знает, что это такое — здесь расплющить, там подбить, пока не получится вещица, которую не сыщешь ни в каких прейскурантах по скобяным товарам. Ученик моего покойного коллеги (за десять пенсов в неделю) пыхтел над мраморной доской, царапал себе пальцы, растирая испанские белила, багдадский индиго, корнуэлльский малахит, зем-

ляную зелень. Ему нужен был крошечный сосуд, чтобы разбить в нем маленькие яйца, говорят, они были не больше, чем у лесного голубя. Само собой, прежде чем прибавлять к белилам краску, он высасывал желток. А мой покойный друг орал ему вниз: «Эй, ты, лентяй, прибавь зелени! Какой зелени? На подкладку плаща, болван! Малахита! И смотри в оба — мы сдельно работаем. Мы должны в Беверли во вторник быть, одному Богу известно, как мы проедем по этим холдерским болотам».

— Бедняга!

— Счастливчик! Небось не раз мок на борозде. А в приходской школе его пороли. Во всяком случае, уж не вам отказывать ему в своем расположении — ведь он растирал краски на алтарной доске вашего мужа.

— Боже мой! Да откуда вы знаете, что делал этот бедняга?

— А я нашел немного красной краски в углублении на одном из крестов.

Вот так мы болтали. И после затянувшейся паузы я понимал, что она ушла.

До моей жизни в Оксгодби я только в детстве ходил в церковь. Оглядываясь назад, вспоминаю, что стал я неверующим лет восемнадцати,

может, семнадцати; но отвернулся я от бога не в одночасье. Мои родители не были усердными прихожанами, хотя венчались, крестили меня и, я думаю, верили в загробную жизнь. Весной и летом отец с утра пораньше почти каждое воскресенье отправлялся на рыбалку. Он заглядывал обычно ко мне в спальню и говорил:

— Иду воздать благодарственные молитвы Создателю на берегу реки, присматривай за мамой.

На своей колокольне в Норт-Райдинге в воскресенье, когда Моссоп начинал надо мной звонить и я просыпался, хотя тут же закрывал глаза, а веревка ходила вверх-вниз и голова начинала кружиться, меня уносило в далекое прошлое. А потом я слушал, как евхаристия Кича ручейком льется с амвона. А вечерами я отсиживался на скамье у Эллербека с методистами, потому что, хоть меня и ждали каждое воскресенье у станционного начальника, я чувствовал себя обязанным отсидеть вечерню у уэслианцев-методистов, чтобы оправдать свой ужин. Честно говоря, я далеко не уверен, что поддался бы, если б это мне не нравилось. Да, это мне нравилось.

Тут дело шло куда веселей, чем у Кича. Прежде всего — каждый раз был новый проповедник: чиновники, лавочники, один раз даже торговец

дрожжами. По большей части это была неотесанная публика — фермеры, работники, люди, бросившие школу лет в двенадцать-тринадцать. Убеждений они были твердых, что твой священник, но изъяснялись обычно на диалекте, принятом за Килберном и Риво [34], проповедь они произносили на тарабарском наречии, языке, который перезабыли уже мои южные предки. Их английский порой бывал до того дик, что даже моя Кейти за фисгармонией и певчие — я видел их лица — прыскали в носовые платки.

Запомнился старичок, превозносивший собственное усердие: «Мы с супружницей дарогу зглины вылажили длинна дорога и грязна дорога-та, дак саседка мне и говорит: «Я в храм не ходок ноне, в храм зачем глину тащить!»» — «Не, говорю, ты баишься не за храм божий, а за паганы башмаки сваи, штош мне теперь на горбу тебя в храм волочь штоль!..»

Наши школы и Би-би-си, полагаю, выправили эти дивные ошибки, всех постригли под одну гребенку. А тогда, в конце лошадиного века, каждый проповедник Святого писания за образец себе кого хотел, того и брал. Действительно, так было

---

[34] Примечания: 34
Города в графстве Йоркшир (север Англии).

и с мистером Эллербеком, который бросил школу в четырнадцать и стал деревенским проповедником, когда ему еще и двадцати не было. Кроткий, как овца, сдержанный, он только ступит, бывало, на амвон, — в нем просыпался родной отец, который, как выяснилось, был человек бешеный и безрассудный.

Впрочем, не совсем так, не то чтобы амвон сразу преображал его, он оставался довольно смиренным, пока исполнялись вводные гимны, только чуть преувеличен в своем скучно-уничижительном старании соответствовать одеждам восточного деспота. Но стоило ему отдаться волнам и стихиям службы, он принимался рычать и вопить точно сумасшедший, громыхая кулачищами по кафедре с такой силой, что подпрыгивал графин с водой. А его бедняжка жена сидела, низко-низко опустив голову, только дрожащие пальцы выдавали ее страдания. Слава богу, вернувшись на землю, он будто отряхивался от эпилептического приступа, даже не помнил, что с ним было.

После их вечерни было заведено собираться в гостиной станционного начальника, где стояла роскошная фисгармония, фантастическое сооружение, где что-то вылетало и что-то прята-

лось, что-то сжималось и что-то раскачивалось, рычажки, зеркала, подставки для цветов, подлокотники для певцов, обессилевших от эмоций, четыре бронзовых подсвечника, которые можно устанавливать так, чтобы выгодно освещать певца и песню, и все это великолепие венчалось инкрустированным парапетом, за которым благополучно красовалась фамильная посуда.

Как бы то ни было, после воскресной вечерни мы чувствовали себя непринужденно вокруг этого замечательного инструмента, и в перерывах между пением гимнов гостям предлагалось порадовать собравшихся сольным исполнением. В те давно прошедшие дни я воображал, что у меня небольшой баритон, и когда наступил мой черед, я исполнил то, что неизменно имело успех в казарме. Начиналось это так:

В небольшой пивной у Райна
Как-то случай был такой —
Три амбала веселились,
И вино лилось рекой.

Когда я закончил — в песне было шесть куплетов, — гости конфузливо глядели кто мне через плечо, кто на стертый половик у камина. В конце концов миссис Эллербек сказала:

— Очень мило, мистер Беркин. Но не та часть, где о выпивке речь идет. Это звучит так романтично, а ведь пьянство приносит столько страданий женам и детям!

Моя карта была бита.

Потом мистер Эллербек проводил меня до церкви.

— Не обижайтесь, — сказал он. — Миссис Эллербек как лучше хотела. Строго между нами, ее отец был страшный пьянчуга, никогда остановиться не мог. Там в уолдских краях их много таких — наверно, кровь датчан взыгрывает. Да у него борода была длинная, светлая и глаза голубые. Подозреваю, что он меня недолюбливал. Вы ведь живете в Лондоне, и уверен, не знаете, как живут в Ист-Райдинге. Из одной спальни прямо в другую попадаешь, коридоров вообще нет. И ни за что не поверите: в последней есть лестница, очень крутая, без перил, а в конце ее дверь на сопливой задвижке. Из рассказов ее родичей я понял — ее папашка проснулся как-то ночью, горшок пошел искать, а хмель в голове гулял. Так он прямиком с лестницы сверзился, мужик-то тяжеленький был, дверь головой прошиб.

Господи! Что за картина! В полной тишине вдруг мощный рев, он летит, отбивая себе бока,

хватаясь за воздух, прошибает дверь, а потом летит с ней в темную гостиную, может быть, прямым попаданием на стул, у которого ножки подкашиваются под папочкиной тяжестью. И — предсмертные стоны, и — семья в ужасе смотрит в остановившиеся голубые глаза.

— Да, — продолжал он, — я, безусловно, противник спиртного, ярый противник. Но не такой, как моя супруга.

Я стал внимательно присматриваться к миссис Эллербек. До этого она была просто приятное домашнее существо. А отныне — сами подумайте! Заточенная в двух-трех комнатах с бородатым великаном, который, когда напивался, становился сам на себя не похож, с матерью, старавшейся скрыть страх и презрение. А потом этот жуткий конец в кромешной тьме! Вспомнив мою идиотскую песенку, я потом холодным покрылся. И эта милая женщина провожала меня с легким сердцем: опустив руку в карман, я обнаружил пакет с мясными сандвичами.

А когда в следующий раз мы собрались вокруг фисгармонии, она великодушно дала мне возможность искупить свою вину.

— О, мистер Беркин, — сказала она, — нам так понравилась мелодия песенки, которую вы пели.

Может, вы немного измените слова?

Во спасение души я так и поступил:

В скромной чайной, что у Райна,
Как-то случай был такой…

Только Кейти, кажется, поняла комизм ситуации, но она была великодушная девочка и никогда не припоминала мне ту историю.

И вот центр арки и левая часть почти отмыты. Знатным господам были оказаны особые почести: он даже писал их одежды сусальным золотом и, к моему удивлению, киноварью — губы и щеки сонмом окруживших их херувимов. На самом деле, стоило ему вспомнить о тех, кто готов раскошелиться на фреску, он становился без оглядки щедрым на дорогую красную краску и почти недоступное сусальное золото.

Но как только он приступил (как я сейчас приступал) к дрожащим перед пламенем или летящим в него вверх тормашками проклятым, он перешел на дешевый материал — красный земляной и окись железа. И одинаковые, собранные в одном месте, они не могли претендовать ни на какое сравнение с великолепным архангелом Михаилом, с его кровожадными руками, на одежду которого мастер не пожалел бесценной

краски. Но тут он брал своей неистовостью — он воистину горел, когда писал эту сцену. В верхней части фрески он выполнил свою задачу как безупречный профессионал, и более того — он был мастер своего дела, и написанное его кистью было великим произведением. Но, дойдя до подножия пирамиды, он все поставил на карту — свое искусство и свое сердце.

Каждый день я расчищал по несколько дюймов бурлящего каскада костей, рук, ног, летящих в огненный водопад. Мне еще осталось несколько несчастных. Этих он особенно не прописывал, они были всего лишь «топливом». Кроме одного. И он, могу поклясться, был чей-то портрет — шрам в форме полумесяца на брови почти не оставлял сомнений в моей правоте. Светлые волосы струились, как пламя факела, и он, как второй Симон Волхв [35], сломя голову устремился вниз. Его держали два демона с волосатыми ногами, один зажал ему правую руку, а его приятель резал ее ножницами.

Из того, что мне доводилось видеть, это была

---

[35] Примечания: 35

Самарянский волхв, принявший христианство и предлагавший деньги апостолам Петру и Павлу, «Говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго. Но Петр сказал ему; серебро твое да будет в погибель с тобою…». Деяния святых Апостолов, 8, 19—20.

самая необычная деталь средневековой живописи, на сто лет предвосхитившая Брейгеля. И почему этой одной-единственной деталью он так вырвался вперед, опережая свое время?

Что в ней было такого?

Да, в тот памятный день я понимал, что прикасаюсь к шедевру, но не был готов признаться себе в этом — так жадный ребенок прячет самые вкусные конфеты в коробке. В течение дня я старался не смотреть на картину целиком, зато придирался к деталям. А к концу дня, когда солнце с запада ненадолго освещало стену со стороны моей капители, я отходил, нарочно не подымая глаз, и потом смотрел на фреску. Захватывающее зрелище. (Во всяком случае, у меня дух перехватывало.) Мощный водопад цвета, синие тона центральной, верхней частей, переходящие в буйство красного; как все подлинно великие произведения искусства, картина ошеломляла целым, только потом обольщала деталями.

Как-то вечером я настолько был заворожен, что не слышал, как по лестнице забрался Мун, и, увидев его подле себя, даже не удивился. Несколько минут спустя он заговорил, и мне ясно стало, что он тоже заворожен.

— Ты, конечно, понимаешь, что начнется, как

только о ней прознают? — спросил он. Я кивнул. — Где-нибудь еще такая есть? Такого же класса?

Нет, ответил я, нету. Были когда-то. Но больше нет. В Кроутоне, Стоук-Орчарде, в церкви св. Олбана, в Грейт Хэрроудене — они все были великолепны в свое время, но не сейчас.

— Посмотри, — сказал он. — Посмотри на эти лица. Какие живые. Ну прямо настоящие живые. Вернее, были живые. Эти два ангела-пастуха с кнутами: клянусь — они танцуют. Потрясающе! Знаешь, почему-то это напоминает наш кошмар во Франции, особенно зимы. Особенно вечера, когда полыхало все вокруг, начинался обстрел, каждый думал, что будет ночью…

Паки грядущаго со славою

Судити живым и мертвым…

Я-то смотрел на это иначе. Не хотел так смотреть. Оксгодби был совсем иным миром, совсем иным. Для меня это была именно средневековая фреска, принадлежащая своему времени, и только. Да, все мы видим все по-разному, и нечего надеяться, что хотя бы один из тысячи видит так же, как ты. Я просто сказал ему: если фреска отличается от других, то потому, что ее писал один

человек, а, скажем, в Чоулгроуве рисунок выполнил мастер, а краску накладывал его помощник. По-моему, он меня не слушал.

— До чего здорово, — сказал он. — Только мы двое знаем об этой картине, пока искусствовед из «Таймса» не вцепился в нее и не раструбил на весь свет, что это чудо иконографии, и ученые-паразиты не набросились на нее. Сейчас она только наша!

И я, как вы, боюсь всегда —
— И в трепете мой дух и плоть —
Восстать в день Страшного суда
И ждать, когда придет Господь…

Знаешь, в те времена я, думаю, смог бы обратиться в веру, в ней было больше толку.

— Еще Алиса Кич, — сказал я. — По-моему, она тоже знает.

Он испытующе посмотрел на меня и сказал:

— Может, между вами что завязалось? Хорошо бы. Нет, ничего? Жаль. Она зря пропадает с Кичем.

— Я на прошлой неделе разрешил ей приходить. Она, в общем-то, через день приходит, у дверей сидит и вполне толковые замечания отпускает.

— Правда? А ты? Ты никогда, кстати, не говорил мне — ты женат?

Я сказал ему про Винни и про то, что она смылась с другим. Не сказал только, что она наверняка спала с мужиками, пока я был за морем. И о том, что она уже и раньше меня бросала.

— Понятно! — сказал Мун. — Вроде мы уже достаточно друг друга знаем, и тебя мои расспросы не злят. Сам я так и не встретил свою женщину.

Мы помолчали.

— Тут кое-что, может, тебя заинтересует, — сказал я и показал на того, падающего. — Его забелили на несколько лет раньше остальных.

Мун подковылял ближе и стал пристально его изучать.

— Да, — протянул он. — Понимаю. Клянусь, он нарочно помечен этим полумесяцем, чтобы его узнавали. Но твой богомаз на такое бы не решился. Да, жаль! На эту загадку тебе не найти ответа, Беркин.

Он отвернулся и стал смотреть куда-то под потолок, верно забыв о падающем.

— Насчет этого рельефа под потолком, — сказал он, — я по-прежнему придерживаюсь теории, что

он не in situ [36]. Ему там не место. Прапрапрадед старины Моссопа — думаешь, он растерялся в 1530 году? — срезал лучшие куски с алтаря и прилепил к потолку от греха подальше, пока не нагрянули новые вандалы. А раз уж речь о Моссопе зашла, что он думает о твоей фреске?

Я рассмеялся:

— Он не говорит, да и вряд ли он особенно о ней думает. Но тоже считает, что через месяц-другой прихожане даже не вспомнят о ней. Убежден, он думает, что, не успею я сесть в поезд, Кич снова велит ее замазать. Моссоп невысокого мнения о своих собратьях.

— Как же он уживается с Кичем?

— Да он это так объясняет: «Штоб ты знал, майстер Беркин, священники приходят и уходят, а нам дак здесь оставаться».

Мы спустились вниз, я сполоснулся у колонки на церковном дворе, и мы пошли к нему в палатку и вскипятили чай. Было около семи вечера, и такая тишина, что, заговори со мной кто в миле отсюда, я бы, кажется, услыхал.

Мы сидели и грелись на солнышке: он курил, а я думал об Алисе Кич. При том что я был увлечен

---

[36] Примечания: 36
На месте (*лат.*).

своей работой, а она ведь была миссис Кич, я относился к ней просто как к очаровательной женщине, с которой приятно поболтать и на которую приятно смотреть под каким-нибудь предлогом. Но расспросы Муна все изменили, и у меня разыгралось воображение: я представлял, как мы идем с ней в какое-нибудь укромное местечко, ужинаем, я касаюсь ее руки, обнимаю ее, целую. Мы на мансарде, в окна льются звуки и запахи фруктового сада, а дальше стелятся луга. И мы поворачиваемся друг к другу в полумраке. Да, мечты…

— Господи, явился! — пробормотал Мун. — От него тоской так и тянет.

— Добрый вечер! — сказал Кич, но не получил ответа и скис. — Я мимо проходил. Ничего пока не нашли, Мун?

— Нет, — ответил Мун.

— А я ни на минуту не допускал мысли, что тут что-то можно найти. Бедняжка мисс Хиброн была не в себе перед смертью.

Мун не ответил. Кич растерянно смотрел на него.

— М-да-а, — протянул он нерешительно. — Пустая трата денег!

Мун смотрел вдаль.

— Возмутительно! — Это уже произнесено было с яростью, после чего он ретировался.

— И как прелестная Алиса его терпит? — сказал Мун. — Представь себе — по три раза в день встречаться за столом и выслушивать его блеянье. Да еще спать с ним.

— Может, он дома другой. Хочешь не хочешь, а я должен его выслушивать, я возделываю его виноградник.

— И о чем он говорит?

— Ну, во-первых, о церковной печке.

— Ты уже говорил. Давно ведь дело было, нельзя же об одном и том же.

— Не знаю. Правда, не знаю. Знаю, он говорит. А о чем — поди разбери. Такое впечатление, что ответа он не ждет. И на том спасибо.

Мун хихикнул.

— А ты странный тип, Беркин, — сказал он. — Ты-то какой дома, интересно? — (Я и сам призадумался.) — Но совесть у него есть? «Бедняжка мисс Хиброн была не в себе перед смертью». Уверен, она была очень даже в себе, в руках его держала, он до сих пор обижается. Моссоп говорит: она с самого начала знала ему цену… Пошли, покажу берлогу нашей благодетельницы…

Мы пошли вдоль ручья, перебрались через

шаткий мосток, спустились по дорожке вниз, миновали слетевшие с петель, покрытые зеленой плесенью ворота и очутились на заросшей аллее. Здание ранневикторианской постройки было огромное, стены — в окнах и водосточных трубах. Оно стояло посреди розовых куртин в зарослях крапивы, среди низко стриженных лужаек, поросших бурьяном, среди кустов и деревьев, превратившихся в непролазную чащобу.

— Мисс Хиброн, по описаниям, очень напоминала свой дом, — пробурчал Мун. — Носила что ни попадя, спала не раздеваясь. Моссоп рассказывает: она покупала на толкучке несколько толстых юбок и носила по нескольку лет.

— Ну ты полегче, — заметил я. — Она у тебя получается какой-то оборванкой.

— Глаза совсем блеклые, думаю — серые. Волосы, говорят, красила в разные цвета, однажды в оранжевый выкрасила. Длиннющий тонкий нос. Чаще всего про ее зубы вспоминают. Лошадиные, а уж когда улыбнется… Моссоп говорит: когда хмурилась, было не так страшно.

Я смотрел на пришедший в упадок дом. Комнат тридцать, а то и больше. Длинные коридоры, лестницы, кладовые, погреба, мансарды, Бедняга! По ночам ей приходилось бродить со свечой и

шарить в скрипучей тьме, когда сквозняк задувал пламя.

— Когда-то с ней сестра жила, мне говорили. Мисс Хетти. Ей место в психушке, но мисс Хиброн ни одного врача к ней не подпустила.

— А теперь полковник сам по себе?

Мун кивнул.

— А как ты к старости относишься, Беркин?

Это не был неуместный вопрос, могу сказать: Мун всерьез ждал ответа, моего мнения.

— Не могу себе представить, — сказал я. — То есть, не могу себе представить, что это меня ждет. Когда еще! А тебе интересно? Но ты и сам знаешь. Наверно, мало кто загодя думает про старость.

— Или про то, что дальше? — сказал он.

Добро сотворяющий станет блажен,
Содеявший зло попадет в адский плен.

— А, ладно тебе, — сказал я раздраженно. — Мы приходим и уходим. Меня это вполне устраивает. Мы здесь по найму на срок, и я принимаю все как есть. Чему быть — того не миновать.

Все дни в том августе погода стояла жаркая и сухая. Такая погода — как по заказу для каникул, но только богачи в здешних местах позволяли себе роскошь уехать, и даже поездка на неделю в

Скарборо была целым событием. Все сидели дома, и всего развлечений — сельскохозяйственная выставка, передвижная ярмарка, пикник с соучениками воскресной школы, а кто со светскими амбициями, для тех еще теннис с огуречными сандвичами. У большинства местных не заведено спать в чужой кровати, под чужой крышей, они уверены, что ночевать у чужих все равно что среди воров. Так они жили испокон века, так жили их праотцы, и от дома отлучались недалеко, чтобы лошадью или пешком к вечеру вернуться.

Я освоился с этим мерным ритмом жизни и работы, я обрел свое место, жил одновременно в настоящем и прошлом, я был совершенно доволен. Но сам я этого не знал, пока однажды Алиса Кич не сказала:

— Вы счастливы, мистер Беркин. Вы перестали сердиться. Это оттого, что работа хорошо продвигается?

Конечно, она была права. Во всяком случае, отчасти. Стоя на лесах перед великим произведением искусства, я ощущал родство с его создателем, мне приятно было сознавать, что я, в каком-то плане импресарио или волшебник, спустя четыреста лет возвращаю из тьмы его детище. Но была и другая причина. Дивные дни, здешние

места, густые леса, дороги в буйной траве и лесных цветах. А к югу и северу от Вейла — низкие холмы, рубежи таинственной страны.

Теперь я каждое воскресенье обедал с Эллербеками. Может быть, они, посовещавшись, пришли к выводу, что я — приятный молодой человек, милый скиталец, заблудшая овца, которую пора вернуть в овчарню. Кто знает? Может, я им просто понравился и они поняли, что при мне они могут себя вести без всяких церемоний. Во всяком случае, я вспоминаю одну нашу трапезу в начале августа. С обедом было покончено (у них по воскресеньям сладкий пудинг не подавался), и мы пили чай, когда мистер Эллербек произнес с легкой интонацией святого мученика:

— Да, мать моя, сегодня мой черед служить в Бартон Ферри обедню.

— Тебя не должны были намечать, — возмущенно воскликнула его жена. — Ведь тебе служить вечерню в Молмерби. В разных церквах отслужить утреню и вечерню не очень-то легко, но обедню и вечерню в разных церквах! Это уж слишком! И Ферри!

— Эта несчастная Ферри! — сказал мистер Эллербек, не выказывая никакого энтузиазма. — Да, наш долг — помогать захолустным деревушкам

и сельским церквам, средоточию их жизненных интересов.

— Ты устал, не щадишь себя, — сердито сказала миссис Эллербек. — В твои годы тебе бы полежать немножко, отдохнуть, а не мотаться по дорогам.

— И вечно ветер в лицо на дороге и туда и обратно, ты всегда говоришь, — вставила Кейти, окончательно укореняя отца в его кресле.

Понимая, что от меня тоже ждут сочувствия, я издал скорбное мычание.

— Может, Том пойдет вместо тебя, — нашлась миссис Эллербек, поворотясь ко мне и понимая, что я после ее великолепного обеда беззащитен. — Там будут два-три человека, не больше.

— Да, — подхватила бессердечная Кейти. — Чего бояться, правда, пап? Ты сам говорил, туда верзила-работник с фермы приходит, двое-трое ребятишек да Люси Сайкс — играет на органе. С вашим образованием, мистер Беркин, неужели вы не справитесь с этой жалкой кучкой?

Можно было подумать, что я чемпион в борьбе тяжеловесов.

Мистер Эллербек не бросился мне на выручку. Он только посмотрел на меня лукаво и ограничился замечанием:

— Что ж, не приходится спорить, у Тома ноги

моложе моих.

— Можете взять папин велосипед, — сказала Кейти, переходя в наступление. — У него три скорости и цепь хорошо смазана маслом.

Атака была слишком бурная, мои рубежи тотчас пали, и мне оставалось только сделать вид, что я веду контратаку.

— Да я никогда ничем подобным не занимался, — протестовал я. — Проповедовать?! Молиться?! То есть, молиться вслух?

(Совесть требовала этого «вслух», потому что я молился достаточно красноречиво в своем окопе, когда нас поливали с бреющего полета. Но, решись я воспроизвести одну из тех весьма своеобразных молитв, она бы довольно странно звучала в любой церкви, не говоря уж о Бартон Ферри.)

— Можете рассказать им, чем занимаетесь, — сказала Кейти. — Им будет очень интересно, у них ведь ничего такого нет в Ферри.

— Но молитвы… — сокрушался я.

— Всевышний вложит слова в ваши уста, — сказал мистер Эллербек, оставляя свою нейтральную позицию ради полной победы.

Всевышний не вложил мне в уста ответа, и, поняв, что я полностью сдался на милость

победителя, Эдгар (пристойно сохранявший нейтралитет) нашел мне пару зажимов для брюк.

До той минуты Эдгар мне очень нравился.

Бартон Ферри была в четырех милях от Оксгодби, по скучной дороге. Дома выстроились в шеренгу тылом к полям; широкий ров, куда стекала грязь из канав и труб, тянулся вдоль пыльной дороги до самого берега реки. Деревенька состояла из нескольких домиков, колокола на мощном столбе, к которому еще была прикреплена гребная лодка, а на лоскуте травы, испещренной утиными перьями, пристроилась кирпичная церковка, чуть больше просторной комнаты.

Я приехал загодя, но у дверей меня уже поджидала загорелая молодая девушка, отличная, здоровая, такой только детей рожать. Она была хорошенькая, но страшно робела, смотрела все в сторону, на реку и дорогу под горкой, пока я сбивчиво объяснял, что мистеру Эллербеку нездоровится и что я его неполноценная замена. Она ни слова не сказала по этому поводу, но не казалась огорченной, впуская меня в церковь и спрашивая, какие играть гимны. Я ответил, что это ей решать, но я буду ей признателен, если она выберет подлиннее и предпочтительно с рефреном после каждого стиха.

В церкви стояло от силы с полдюжины скамей, перед ними громоздилась огромная полированная кафедра, забравшись на которую, я с высоты своего положения обнаружил, что мне открылся дивный вид на реку из заднего окна. Гигантские часы над моей головой должны были принять участие в предстоящей службе — может, даже усилить внимание моих собратьев-богомольцев. Далее я постарался найти две главы подлиннее в Ветхом и Новом завете и заложил страницы. Громкое тиканье часов было куда медленнее стука моего сердца. Органистка не подавала признаков жизни, ее сильные смуглые руки лежали на коленях, голову она наклонила. Не думаю, что она молилась. Было невыносимо душно, я вспотел.

В двенадцать часов, ни секундой раньше, в церковь притопали двое веснушчатых мальчишек, красномордый работник с фермы и пожилой мужик и сгрудились подо мной, как овцы. Я провозгласил первый гимн, «О, тысячами языков воспоем хвалу великому Спасителю», который мы спели на удивление громко для такой небольшой компании. Последовавшая за ним молитва спотыкалась о зловещие паузы. Всевышний явственно не счел нужным услышать твердое

обещание мистера Эллербека, данное от Его имени, вложить слова в мои уста. Тем не менее я сбивчиво продолжал требу, захлебываясь в мольбах простить меня за грехи — в которых и не признаешься и за которые, по моему ощущению, скорее был в ответе Он (я это о Пассендале), чем я, — и рассыпаясь в «Ты» и «Тебя», служивших мне отличной ширмой. Я никого и не обманул. Открыв один раз глаза, я увидел, что склоненные плечи органистки слегка подрагивают.

После того как мы прогромыхали четвертый гимн, «Венчай Его венцами многими», я твердо решил покончить со своим чудовищным перевоплощением, даже если у начальника станции и будут неприятности с церковным начальством.

— Слушайте, — объявил я весьма свирепо, — меня послали к вам, потому что никого другого не было, я в жизни никогда не служил и никогда не буду, я просто хочу сказать вам, что я делаю в Оксгодби, а если кому надо уйти или кто подремать захочет — бога ради.

Конечно, они сразу поняли меня и слушали внимательно, и дети даже руки подымали, задавали очень толковые вопросы. Потом мужик, оказавшийся их дедом, сказал, что отвезет их на своей двуколке и они увидят то, о чем я рас-

сказываю.

Когда они разбрелись, я поблагодарил органистку и, пока она запирала дверь, прищепил на брюки зажимы.

— Может, зайдете к нам чаю попить? — сказала она.

— Спасибо, меня ждут, — ответил я, а сам подумал: «Почему бы и нет? Может, нам с ней встретиться как-нибудь?» (Мне очень плохо было без женщины.) И добавил: — Да я, в общем, с удовольствием, в такую жару не худо чайку попить. Эллербеки, уверен, не рассердятся.

Она жила в мансарде фермерского дома, окна выходили на дорогу.

Темно-красные штокрозы облепили побеленную известью стену, бархатные бабочки лениво перебирались с цветка на цветок. Погода была в духе Теннисона — дремотная, теплая, неправдоподобно спокойная. Ее родители приняли меня очень сердечно. Они угостили меня тем, что в здешних краях называется легкой закуской — ветчиной прямо с крюка, яблочным паем и обжигающим чаем. Из разговора выяснилось, что я был Там (как они сказали), и это удесятерило их восхитительную заботу. Потом я заметил на пианино фотографию молодого солдата.

— Это наш сын, наш Пирс, — сказала миссис Сайкс. — Он сфотографировался в свой последний отпуск, в день своего девятнадцатилетия.

По их лицам я понял, что глупо спрашивать, что потом было с Пирсом. Но когда я собрался уходить, я подошел к нему поближе: коренастый парень, с открытым, красивым лицом. Отец, встав позади, смотрел на него через мое плечо.

— Он был славный парень, наш Пирс, — сказал он, — работяга. Никогда никому в помощи не отказывал, его тут все любили.

Я ехал домой, вдоль рва, по пустой дороге меж полей пшеницы, колыхавшейся, как море, и вдруг заорал:

— Скоты! Сволочи! Вас никто не просил начинать ее. Хоть бы кончили ее пораньше. Бог? Ха! Нету никакого бога!

Две лошади, щипавшие траву на лугу, вскинули морды и тихо заржали.

— Ну как ваши успехи в Ферри? — поинтересовался мистер Эллербек, вернувшись вечером из Молмерби.

— Я понял одно, — ответил я, — из меня священника никогда не получится. Боюсь, что ваше церковное начальство рассвирепеет и задаст вам перцу, когда вместе с подношениями от паствы

посыплются жалобы на меня.

— Он ужинал у Люси Сайкс, — закричала Кейти. — Она пригласила его. Он притих, потому что в Люси влюбился.

— Она отличная, крепкая девка, — сказал мистер Эллербек. — И прекрасно играет на этом старом органе в Ферри. Благочестивая христианка к тому же. Мы пригласим ее на юбилей нашей воскресной школы, сможете повидаться.

Эллербекам, видно, и в голову не приходило, что я могу быть женат.

В Лондоне я изредка перебрасывался словечком с соседями с одной стороны площадки и раскланивался с теми, что по другую сторону, но встреть я кого-то на улице, кто еще жил со мной в доме, я бы его не узнал. А тут за двадцать четыре часа после моего представления в Бартон Ферри уже все прознали, что я пил чай у Сайксов.

— Говорят, ты охотишься по округе за девчонками. Собрался осесть в Оксгодби? — с подковыркой спросил Мун. — Лучше помалкивай, что ты женат, тут у каждого второго охотничье ружье.

Даже Алиса Кич узнала об этом, но она выразилась более осторожно — в конце разговора, который начался с того, что она спросила, хотел ли я стать художником.

— Нет, — ответил я. — Никогда не думал. Не ловил себя на такой мысли. Я только знал, кем я ни за что не хотел стать. Машинистом, полицейским, налоговым инспектором или кем-то, кто должен торчать в море.

— А как насчет церкви? Из вас бы получился хороший священник.

— Господи! Ну уж вы скажете! Священника из меня точно бы не вышло. Это не мой стиль.

— Но вы умели бы слушать. Вы и сейчас слушаете другого. И вы понимаете, что значит быть тихим и спокойным. Вы ведь знаете, когда с вами разговариваешь, не надо подыскивать слова. Я имею в виду — чтобы не было неловких пауз. Вы всегда умели слушать? С детства?

— Мои сестры часто говорили, что у меня слишком большие уши, то есть, что я слишком здорово все слушаю. Простите меня, я знаю, вы не о том. Да, может, и с детства. Мама была тихая. Часами, бывало, сидела — шила или штопала — и ни словечка не скажет. Иногда сожмет губы и посмотрит на кого-нибудь из нас. А если у кого что-то в школе стряслось, она все выслушает, задаст пару вопросов, и в конце концов окажется, что ты сам уже и ответ нашел. Вы это имеете в виду?

— Да, — сказала она. — Именно это, жаль, что мне не довелось познакомиться с вашей мамой. Мистер Беркин, к вопросу о пасторстве. Я слышала, вы пользовались огромным успехом в Ферри. — Она сказала это, вставая со скамьи и собираясь уйти. — И что вы влюбились.

Она ушла прежде, чем я успел ответить, ее веселый смех летел ко мне в открытую дверь.

Да, она была права. Я влюбился. Только не в милую Люси Сайкс.

Вам, может, интересно, о чем я думал часами на лесах. Ну, само собой, о своей работе, об огромной фреске, которую я отмывал. Но еще о безымянном человеке, стоявшем когда-то на моем месте. Не столько о его технике, хотя, строго говоря, она меня занимала в высшей степени. К примеру, он отлично писал линии рук, особенно суставы пальцев и кисти. Его руки точно переговаривались друг с другом, слышали друг друга. Ноги ему меньше удавались. Но хватит об этом. По-настоящему околдовали меня его причуды. К примеру, когда он, отбросив канон, немного приподнимал линию рта или, отступая от него, украшал край одежды нотным орнаментом для собственного удовольствия.

И меня терзала тайна падающего. Симон Волхв?

Человек, пытавшийся купить Духа Святаго? Его муки были подробнейшим образом документированы, церковь за этим проследила. Держись линии партии. А не то! Но если это знаменитый отступник, почему он написан с такой силой и почему его замазали намного раньше, чем всю фреску? Но почему, почему проваливается в преисподнюю именно этот человек? Знал его художник? Может, его узнали по портрету родственники и упрятали от чужого глаза, не успела фреска просохнуть? Увы, я опоздал на несколько сотен лет со своими вопросами.

— Ну как вы сработались? — любил спрашивать Мун, показывая рукой на стену. — Чувствуешь, как он дышит тебе в затылок, подталкивает, приговаривая: «Во даешь, Беркин! Во даешь!» Ты небось его уже как свои пять пальцев знаешь. Ну же, расскажи мне о нем. Кто он?

Кто он! Я даже не знал его имени. Мне кажется, мы не понимаем таких далеких предков. Они были просто другие. Наша идея личной славы была им чужда. К примеру, мой богомаз и не знал ничего о художниках, живших до него, он и не думал, что кто-нибудь захочет узнать что-нибудь о нем. Ему в голову не пришло поставить свое имя на картине. Из сотни, да, по меньшей мере

из сотни, фресок я знаю одну лишь подписанную — это фреска Томаса Молмесберийского в Эмпни Кручис.

Мысль, что спустя пятьсот лет после его смерти кому-то взбредет в голову внимательно изучать его фреску, показалась бы ему дикой. В его время здания перекраивались согласно моде каждые пятьдесят лет, и мой богомаз думал, что его работа проживет самое большее два поколения.

— Как он выглядел?

А это уже другое дело. Я не мог вообразить его лицо. Но он был светловолосый, борода прилипала к краске, они и сейчас сохранились, особенно к красной охре, которую он размешивал на льняном масле. Я не мог спутать его волосы с волосами от кисти — у тех длина другая: дюйм, ну от силы полтора. Для грубой работы — из свиной щетины, для тонкой идет волос серого барсука.

— М-да-а, весьма впечатляюще. А что еще может быть установлено относительно нашего почившего собрата?

— Писал правой рукой, был приблизительно твоего роста, ему приходилось на табурет залезать, чтобы дотянуться до высоты в шесть футов; если я не ошибаюсь, вот эти участки он писал на коленях, а то и лежа на боку. Вот, пожалуй, и

все. Да, еще. Он, не исключено, жил в монастыре. Это только предположение, но эти его руки такие выразительные, как руки монахов, способные говорить в долгие минуты молчания. И последнее — он не доверялся ученику. Он почти все написал сам, кроме самого низа, нижней части преисподней. Посмотри, убедишься — тут грубая работа, просто подмалевка. Ума не приложу, почему он перепоручил это своему ученику, когда уже был у финиша.

— Это больше, чем я могу сказать о моих проклятых камнях, — сказал Мун. И ушел.

О да, это был его шедевр. Где бы он раньше ни работал, он просто готовился. Он здесь обливался потом, метался в постели, стонал, рыдал над ней. Эти истерзанные руки, пальцы в агонии.

Паки грядущаго со славой…

Я понял, почему последний ярд адского пламени писал не он. То была его последняя работа. С него было довольно, больше он не мог выдержать. И он вышел из игры. Но тогда так просто было не уйти, его вернули и заставили кончать. Он, наверно, умер за работой. Но и последние мазки его кисти были четкие и уверенные, и в конце он оставался мастером, как и в начале.

И я понял. Я повернулся, подошел к краю настила и посмотрел вниз на каменные плиты пола. Он свалился.

Великий Боже! Я скатился кубарем с лестницы и выбежал из церкви. Мун был уже около палатки.

— Он свалился! — Я вопил ему в спину. — Это была его последняя работа. Он свалился!

Мун повернулся и, когда до него дошло, ухмыльнулся.

— Ладно, — крикнул в ответ, — сам ходи поосторожней на лесах.

Алиса Кич пришла на следующий день часов в пять-шесть, но я заметил ее, только когда услышал шаги по лестнице.

— Поздно, теперь не остановите, — сказала она. — Я уже здесь.

Потом она какое-то время молчала. Я бы удивился, если бы она не молчала: вблизи, когда стоишь чуть ли не впритык к фреске, она устрашает, и Алису охватил ужас. Я слышал, как она переводит дыхание. Потом она сказала:

— Вы верите в адские муки, мистер Беркин?

Да, это мысль! Ад? Пассендаль был адом. Сплющенные тела, оторванные головы, унизительный страх, пронзительный, вопиющий страх, непе-

редаваемый страх! Сплошное месиво! Но я-то понимал, что она спрашивает о библейском аде, о вечном аде. И я ответил:

— Когда как. Ад означает разное для разных людей и разное для одного и того же человека в разное время.

Она не подвергла мой ответ сомнению — клянусь, она читала мои мысли. Она знала их.

— Тогда как насчет земного ада? — сказала она.

Я сказал ей, что я видел его, жил в нем, но выход великодушно оставили открытым. Потом мы оба молчали, довольно долго, и я подумал, что можно сказать кое-что в пользу жизни в аду, потому что, когда выцарапываешься из кровавого месива, мир кажется светлее и лучше, чем запомнился. Мы старались забыть о тех, кто ушел на тот свет. Днем нам это удавалось. А по ночам, в темноте, они возвращались на время, но мы ничего не хотели знать о том, где они сейчас — они были в ином мире, в аду, если угодно.

А потом еще Винни. Это тоже был ад. Но я выкарабкался из этой ямы, и здесь, в Оксгодби, я ожил, так кровь снова бежит по онемевшим пальцам, — вокруг был мир новых людей, которые знали обо мне ровно столько, сколько я им рассказывал.

— Ну? — сказала она.

— Да, — ответил я. — Я был там, у меня в голове карта тех мест, мистер Мун не даст соврать! Нас все время туда посылали, и тот ад пострашнее, чем у этого парня.

Но уже когда говорил, я понял, что ее вопрос остался без ответа. Не об этом аде и не о библейском она спрашивала.

— Ох, простите, — сказала она. — Я глупый вопрос задала…

Я упустил момент. Мне бы протянуть руку, взять ее руку и сказать: «Вот он я. Что ты хочешь знать? Задай свой вопрос! Скажи мне. Пока я здесь. Спрашивай, пока не поздно».

Может, она и эти мои мысли прочитала, потому что, прошептав, что поздно и ей пора идти, она повернулась и спустилась вниз. Она прекрасна, подумал я. Робкая, пугливая, как дикий зверек. Как он поймал ее? Заманил в капкан? Одолел? Какая у них была первая ночь? Интересно, встал он сперва у постели на колени? Эти темные глаза смотрели в глубь гостиничного номера. Она, наверно, до того и не подозревала, что такое брак. Хотя, кто знает, без сомнения, она видела больше, гораздо больше в Киче, чем все мы. Тайна сия велика.

Я спустился следом за ней.

— Я оставила вам несколько свежих яиц, — сказала она.

После ее ухода я отправился к палатке Муна, и мы сели с ним на траву погреться на вечернем солнышке.

— Ну что? — спросил он.

— Я беседовал об аде с миссис Кич.

Он засмеялся.

— Ты часто о нем думаешь? — спросил я.

Он сжал губы, сморщил нос и стал разглядывать тыльную сторону ладони. Потом — уже совсем на него непохоже — посмотрел мне прямо в глаза.

— Часто, — сказал он. — Особенно по ночам, самое тяжкое время. Окно у тебя открыто, сам, наверно, слышал. — Он знал, что я не буду расспрашивать, выражать сочувствие. — Я сказал себе: со временем будет лучше — и мне уже легчает. Но мы стали другие. Мы все знаем. Мы теперь не такие, как все. Может, и наши жены знают. Конечно, они должны знать. А другие, конечно, все понимают. Я познакомился с одним парнем, который снова вернулся учителем в школу. Он, как ты, был связистом, один ползал в самой гуще с телефонным проводом, который тянулся назад в батарею. Он рассказывал мне, что

первые четыре недели в школе, стоило ученику стукнуть крышкой парты, он бросался на пол. Сначала ученики хихикали. Потом они уже не смеялись, только смотрели на него — кто в ужасе, кто с жалостью. В конце концов они стали делать вид, что не замечают. А я? Когда я был в этом кошмаре, я обычно думал: «Что ж, сейчас дело плохо, но стоит свистнуть в свисток, и все тут же изменится — будет полный порядок!» Но ведь так не бывает, верно? Это же надо постепенно изжить, и я все напоминаю себе, что я еще пока не того, а может, и навсегда таким останусь. — Мун засмеялся. — А ты?

Ответа не требовалось — пока он говорил, меня совсем измотал мой тик.

— Ничего, ты уже не такой страшила, а когда ты появился тут!.. — сказал он. Я вспыхнул, но он продолжал: — Ты небось даже не замечаешь, но Оксгодби тебя помаленьку выравнивает.

Мы помолчали. В сумерках какие-то парни пришли на луг и начали резвиться, путейщик прошел на станцию, толкая впереди себя велосипед.

— Иногда я даже думал: хоть бы поскорее, — сказал Мун. — Бывало, мочи не было терпеть. Ну ты сам знаешь. Чувствовал — не выдержу, лягу

под пули, не дожидаясь, пока подстрелят. Или просто не смогу выбраться из окопа. Столько в землю полегло, сейчас уже я их не так ясно помню… расплываются как-то.

А я думал о великой фреске над моей лестницей. У них совсем другой ад.

Взошла луна, легкий ветерок гнал тени деревьев над полем белого, как вода, ячменя.

— Слушай, — сказал Мун. — Надо переключиться. Черт подери, мы же не на галере. И нас не больно-то осыпают деньгами. Каждый день надо принимать как дивиденд с прошлого. Я договорился с Моссоном. Завтра у нас выходной.

И вот на следующий день мы бросили свои орудия труда и отправились в поле, где работал Моссоп. Стояла уже невыносимая жарища, ячмень склонил ломкие колоски, и, ей-богу, воздух прокалился, как от печки: когда просохла роса, поблескивая граблями, принялась за работу жатка — бодрая, веселая смена начала жать, а мы — копнить. Но, Господи, этот жуткий чертополох! Я не сразу научился перебрасывать снопы, пока не понял, что нужно их схватывать покрепче, потом прижимать колоски друг к другу и ставить по четыре-пять пар в копну. Мы возвращались, снова шли вперед по растрескавшейся

земле во все раскалявшемся зное, и так до полудня, когда тень от снопа истончилась, как язычок пламени. Потом сели обедать («Бабоньки только вас и ждали») — пирог из кролика с картошкой вдохнул в нас жизнь и помог нам продержаться, пока в четыре часа нас не угостили сливовым пирогом и обжигающим чаем из термоса.

Закончили мы в сумерках, когда над темным ободком холмов проступила первая звезда. Кейти Эллербек ждала нас в густой придорожной траве у ворот.

— Не забудьте — завтра воскресная школа выезжает на пикник, — сказала она. — Мистер Доутвейт вас ждет, да и за вашими шизиками присмотреть надо.

Бесполезно было объяснять, что у меня и так сегодня весь день выходной. Она была безжалостна.

— А как насчет мистера Муна? — спросил я. — Ему тоже можно поехать на пикник?

Нет, нельзя. Это — награда тем, кто хорошо поработал, а Мун для школы ничего не сделал.

— Да и вообще, — сказала она, — он англиканин.

— С чего ты это взяла? Насколько я знаю, он не принадлежит ни к какой церкви.

— По его гнусавому выговору, — ответила она. — Не ошибешься!

— Ого, — вставил Мун. — По гласным я узнаю тебя? А как насчет милосердия. Разве не все христиане…

Она умела не допускать религиозных доводов, зная, несмотря на возраст, к каким неблагоприятным выводам могут они привести, и Муну не пришлось кончить фразу.

— Таковы правила, — отрезала она. — И к тому же мистер Беркин почти закончил свою работу, а вы не нашли то, за что вам заплатили.

— Мисс Сайкс из Ферри тоже приедет? — спросил Мун, переходя в контрнаступление.

— У них, кажется, свой пикник, — коротко сказала Кейти. — Не опаздывайте, мистер Беркин. Повозки подадут к восьми, ждать не будут.

На следующее утро я прикрепил к лестнице записку: «Буду вечером. Ходить опасно!» — и, сунув в рот хлеб с ветчиной, побежал через луг к дороге, где на обочине стояли мужчина с женщиной и двумя маленькими мальчишками. Я продолжал чавкать и пыхтеть, как вдруг за поворотом раздался цокот копыт — даже в тот век лошадей этот звук заставил мое сердце радостно забиться.

Вот они — утреннее солнце играло на черно-

каштановых спинах, упряжь и медали сияли, как у генералов. В гривах ленты цвета государственного флага, сбруя блестит — этим волшебным созданьям суждено было свернуть с больших дорог на пахотные борозды. Неужели я уже тогда это знал? Думаю, нет, в Оксгодби и не подозревали, что их ждет. С детства они привыкли к звонкому стуку копыт в конюшне в ночные часы, к горьковатому запаху раскаленного рога на наковальне. Ну откуда им знать, что за несколько лет их друзья и спутники исчезнут навсегда?

Родители спина к спине усаживались в тележки на четырех колесах, а мальчишки с девчонками устраивались на дне, свесив ноги через борта. Наша компания катила во второй телеге, нас встретили весело, но предупредили, что жарищи не миновать и с пиджаками хочешь не хочешь придется расстаться. Мы двинулись, попрощавшись с отвергнутыми — по причине слабого здоровья или иного вероисповедания, — убежденные (как и они), что мы часть древнего сельского цикла и что наша поездка — знак: урожай почти созрел.

Что, я слишком рассусоливаю? Может, и так. Просто, бывает такое — человек и земля слиты в одно, и четко слышен пульс всего живого, а

жизнь до краев полна надеждой, а будущее доверчиво бежит впереди, как эта дорога к холмам. Да, я же молодой был.

Мы подобрали Эллербеков у станции, ему как духовному лицу берегли местечко на скамье, справа от мистера Доутвейта в первой телеге, потом мы доехали до города, там царила несусветная толчея — все спешили на рынок, так что лошади наши перешли на шаг, и приходилось иногда останавливаться, уступая дорогу тем, кто разворачивался на булыжной мостовой. Жены фермеров стояли с корзинками, в которых лежали домашнее масло и яйца, и еще продавали яблоки ранних сортов, груши, гвоздику — все, чего у сельских жителей в избытке в садах и огородах. Я увидел мужчину, держащего на поводке бульдога, с пастью, перевязанной шнурком от ботинка.

— Можно отвязать шнурок, када собака не смогет! — кричал он.

От другого прилавка тянулся запах утрешнего хлеба, и я тут же вспомнил, что перекусил наспех, а есть хочется.

Потом мы переехали через мост и снова покатили полем. Кто-то меня подтолкнул и передал через плечо толстенный сандвич с мясом. Это

оказался Моссоп, а миссис Моссоп ободряюще закивала мне: за мной установилась слава ненасытного обжоры.

— Что вы здесь делаете? — спросил я. — Вы же англиканин.

— Ну, — отвечал он, — я завсегда с ними ездию. Я ж их сызмальства знаю, да и на тот свет провожаю.

Для меня этот день навсегда останется лучшим летним днем — на небе ни облачка, канавы и обочины заросли травой, маки, кукушкины слезки, деревья под тяжестью листвы, фруктовые деревья, нависающие над заборами. А мы с грохотом пронеслись средь этой красотищи, повернули у дорожного указателя на Саттон-андер-Уайтстоун и подъехали к черепичным крышам Килберна, где плотник, возившийся в саду, окликнул своего знакомого в нашей кавалькаде, а тот ответил на его приветствие.

— Гляньте туда, мистер Беркин.

— Куда?

— Туда.

На крутом, заросшем травой откосе выступала огромная Белая Лошадь, увеличенное до гигантских размеров изображение, которое бродячие художники изготовляли за пару золотых для

гордых владельцев лошадей во время соревнований в Грейт Иборе или распродажи в Беверли. В вытянутой спине и грациозной шее были увековечены лошади античного мира.

Мы очутились на общипанной овцами поляне высоко в холмах, от кустов черники и сухого вереска шел такой аромат, что першило в горле. От солнца некуда было спрятаться, но наступило обеденное время, женщины и девочки разложили сваренные вкрутую яйца и взмокшие сандвичи с помидорами, завернутые в промасленную бумагу, спеленутые салфетками. Не кто иной, как мистер Доутвейт («Вы потрудились на славу, дабы упрочить ваш авторитет среди уэслианцев») разложил из веток костер с подветренной стороны, и вот уже на нем кипели жестяные чайники. Потом он затянул коротенький хвалебный гимн, мы его пропели и сели за еду.

После этого мужчины сняли пиджаки, выставив напоказ подтяжки и тесемки от нижнего белья и, к удивлению собственных ребятишек, начали прогуливаться по лужайке и резвиться, как дети. В стороне уединились парочки, женщины сели в кружок и принялись судачить. Поели, попили, вздремнули, покуролесили с девками, глядишь — и день прошел, наступил вечер, и

уже лошадей вели с пастбищ. Потом появилась первая звезда, а ласточки закружили над папоротником, и наши повозки загромыхали вниз, мимо Белой Лошади, через долину, домой — пикник воскресной школы окончился.

А когда мы приехали в Оксгодби, нам сказали, что днем умерла Эмилия Клоу.

Ах, эти дни… долгие годы я помнил, как счастлив я был там. Иногда, слушая музыку, я возвращаюсь туда — и ничего не изменилось. Долгий конец лета. Изо дня в день теплынь, голоса в наступавшей темноте, освещенные окна протыкают ночь, а на рассвете — шелест пшеницы, теплый запах созревших полей. И молодость.

Останься я там, был бы я всегда счастлив? Нет, думаю, нет. Люди уезжают, стареют, умирают, и радостная уверенность, что тебя за углом поджидает чудо, слабеет. Сейчас или никогда. Надо хватать пролетающее счастье.

Я только один раз уезжал из Оксгодби в Рипон. Конечно, я хотел побывать в монастыре, когда жил в тех краях, но сомневаюсь, чтобы я выбрался, если бы мистер Эллербек меня не заставил. А произошло это по той причине, что церковные попечители сообщили, что решили потратиться

на новый американский орган [37], который заменит старенькую фисгармонию.

— Вроде нашей общине новый орган обещаются купить, — сказала мне по секрету Кейти. — Ничего с нашими попечителями не сделается, не разорятся, им-то не приходится, как нам, вечно собирать деньги на жалованье священнику, — добавила она с горечью. — Им-то денежки от других текут.

— Мы очень будем вам признательны, если вы присоединитесь к нам, мистер Беркин, — сказал Эллербек. — Вы сразу отличите хороший орган от плохого, тут двух мнений быть не может, честно скажу — за наши деньги мы хотим купить самое лучшее. Мы вчетвером поедем — мистер Доутвейт, вы, Кейти и я.

Мы поехали поездом, магазин Бейнса «Пианино и органы» притулился в переулке за рыночной площадью. Выбор оказался большой — тридцать пианино, столько же американских органов, фисгармоний и простых органов.

— Принимайте гостей от уэслианских методистов Оксгодби, — сказал мистер Доутвейт, почему-то от возбуждения кланяясь. — Мистер

---

[37] Примечания: 37

В американском органе, в отличие от обычного органа, вместо труб различных размеров — язычки; размером он меньше.

Бейнс знает, что мы приедем, мистер Эллербек, он с нами, написал что мы будем в два пятнадцать.

— Мистер Бейнс здесь больше не работает, — сказал приятный молодой человек, — я новый владелец. — Он оценивающе оглядел нашу одежду и прибавил: — Вам, вероятно, орган с педалями [38] нужен.

Я скис, услыхав его лондонский акцент. Своим тоном он давал нам понять, в какую унизительную сделку его втягивают. После чего он повел нас быстрым шагом по проходу между выставленными, как на парад, инструментами.

— Это все показуха, — прошептала Кейти. — Они обдуривают людей всякими штучками — зеркальцами да бронзовыми подсвечниками. А самое главное — звук. Главное, чтоб хрипа не было, это значит, мехи испорчены.

Едва ли мое бурчание было достаточно любезно, потому что она продолжала сердито:

— А с ним надо вдвойне начеку быть, ведь он южанин. — Великодушная девочка не добавила: «Как вы».

Владелец магазина сыпал специальными, непонятными словечками, явно давая понять, что он

---

[38] Примечания: 38

Имеется в виду обычный орган с трубами, у которых одна клавиатура — ножная.

мечет бисер перед свиньями, вслух этого не упоминая. Действительно, выбор был слишком уж богат; все равно что изголодавшегося человека посадить к столу, ломящемуся от яств — вот он умирает от голода и вот от возбуждения. Но он недолго ограничивался иносказаниями, скоро схамил в открытую:

— Вам что-нибудь подержанное, как я понимаю.

Мы пристыженно кивнули.

— Так и сказали бы, — сказал он с облегчением. — Вон туда ступайте посмотрите. Там подержанные, у богатых церквей покупаем. Может, что и подберете. Уж не знаю. Имейте в виду, гарантии мы не даем.

— Надеюсь, можно проверить один-другой? — спросил мистер Доутвейт почтительно.

Вопрос его остался без ответа — хозяин магазина уплыл навстречу более внушительным клиентам.

Как только удалилась эта важная персона, Эллербек стал самим собой. Глаза загорелись, в голосе зазвучали твердые нотки.

— Давайте глянем на цены, — сказал он, юркнув в загончик для презренных и отверженных. — Что толку смотреть дорогие. Давайте походим, а

потом обменяемся мнениями.

Так мы и сделали.

Через пять минут он сообщил:

— Решено, можем покупать. Один из этих трех — вот этот, тот желтый и вот тот. Кейти, милочка, неси сюда табурет, давайте по очереди послушаем, как они звучат.

И Кейти, поправив свои длинные волосы и поплотнее нахлобучив шляпку, проиграла на каждом из трех органов «Все люди на земле», решительно и энергично выявляя их возможности. Пока она, как безумная, нажимала на педали, усиливая и умеряя звук, Доутвейт стоял скрючившись и прислонившись к трубам органа.

— Я не музыкант, мистер Беркин, — объяснил он, заметив мое удивление, — честно признаюсь, понимаю в мехах, никто не станет отрицать — это моя профессия.

Лично я сумел только заметить, что три претендента звучат примерно одинаково, да еще внес свою лепту в анализ происходящих испытаний, сказав, что один орган дрожит, когда на педали сильно нажимают, а второй чудно пахнет. Потому, когда остановились на третьем и решили его проверить с пристрастием, я почувствовал себя польщенным. В это время другие покупатели,

судя по всему, решали аналогичную проблему, поскольку из чрева того, что объявлялось очень дорогим органом, неслись раскаты грома и пронзительные визги фанфар.

— Пойдите узнайте, долго еще они там шуметь собираются, мистер Беркин, — приказала Кейти, и я выплыл из закута с подержанными инструментами, обходя стороной места скопления музыкального орудия, и вынырнул на пустой пятачок, который предназначался для более солидных клиентов. И это оказались Кичи.

Я остановился, но прежде чем мне удалось трусливо нырнуть под укрытие пианиновых джунглей, Алиса Кич повернулась. В эту самую минуту, чтобы с пущим усердием продолжить свои пневматические исследования, мистер Доутвейт забрался на стул, тем самым объясняя мое присутствие в этом магазине. Алиса сверкнула глазами. Какое-то мгновение я был уверен, что она сейчас расхохочется. Может, и расхохоталась бы, но в эту секунду владелец магазина вновь обрушился на орган, и под прикрытием звукового шквала я ретировался.

— Они сейчас заканчивают, — солгал я.

А мистер Эллербек, развернув бумажный сверток, который он прихватил с собой, извлек на

свет божий сборник уэслианских гимнов.

— Если хотим попасть на поезд в четыре часа семь минут, нечего мешкать. Давай, Кейти, споем триста восемьдесят девятый номер «Он спустился на тучах, чтоб грешников судить». Там все что надо.

И, работая коленями, подымая и опуская ноги, как спринтер, Кейти ответила контрударом.

— Думаю, этот нас устроит, мистер Доутвейт, — сказал начальник станции. — А как вы считаете, Том? Но пока мы не вынесли окончательного решения, давайте послушаем, как он звучит во время пения, ведь вы только дважды слушаете его без пения — при входе и выходе. Итак, сто девятнадцатый номер, Кейти, «Достойный Агнец».

И тут они начали — Кейти вела неожиданно сильным сопрано, несколько утрированный тенорок Эллербека почти гармонировал с basso profondo [39] кузнеца (скрестившего на плаще свои мощные лапищи), а я изучал потолок, гадая, что Алиса Кич подумает о нашем грохоте.

Агнец предостойный,
Агнец предостойный,

---

[39] Примечания: 39
Глубокий бас (*итал.*).

Агнец предостойный распят за нас.

Распят за на-а-ас,

Распят за на-а-ас,

Агнец предостойный распят за нас.

Звук был оглушительно-великолепный, и они уже к третьему стиху приступили, как их оглушил вопль маньяка — это был владелец магазина, потерявший голову от бешенства.

— Эй, вы! — орал он. — Прекратите сейчас же! Спевками заниматься здесь надумали! Мои покупатели сами себя не слышат.

Трое певчих стыдливо примолкли.

— Мы этот берем, — сказал Эллербек. — Перевезти его я попрошу по железной дороге.

Мистер Доутвейт с обескураживающим изяществом снова принял импозантный вид.

— Скидка полагается, если платить наличными? — спросил он, вытаскивая пачку замусоленных банкнот и кошель с серебром. — Думаю, два фунта можно скостить, раз наличными платим.

Время — деньги для делегации из Оксгодби, и они помчались на поезд, отходивший в четыре часа семь минут, бросив изумленного хозяина магазина и волоча упирающуюся органистку. А я остался, чувствуя, что мне обязательно надо

побывать в монастыре. Я спустился с холма. Кроме древнего церковного служителя, бродившего там, в каменном лесу не было никого, и я целый час гулял с ним по монастырскому двору и не уставал восхищаться.

Потом я дотащился до рыночной площади, перекусил сладкой булкой с маслом у бакалейщика в комнатке за лавкой. Меня угостили замечательным чаем — горячим, свежезаваренным. Я и булку запомнил, из отборного зерна, первосортная булка. Сейчас в Лондоне, если повезет, иногда попадается такой же хлеб. Приятно было есть в той комнатушке, чувствуешь себя как дома, сидишь себе расслабившись — никто не подскочит, из-под носа ничего не выхватит, стул из-под тебя не выдернет. Я совсем раскис, проходив целый вечер, думал, как здорово, что меня попросили выбрать орган, терялся в догадках, что подумала Алиса Кич, и надеялся, что вдруг, как это ни дико, она заглянет сюда на чашку чаю или поедет домой одна поездом в шесть часов двадцать минут.

Я закурил. Зашел посетитель, но я не оборачивался, пока он не заговорил.

— Ну надо же! Ты что, здесь живешь?

Я сперва не узнал его.

— Мелбурн, — сказал он, — сержант Мелбурн.

Тут я его узнал, был он неплохой парень. Он вроде был доброволец Китченера [40], не то что я, мобилизованный. В последний раз я видел его в Бапауме, в доме без крыши.

— Последний раз мы с тобой виделись, когда тебя увозили, — сказал он мне. — Что это было, контузия? Ты связистом был, да? Не много вашего брата уцелело.

Он подошел к моему столику и поведал мне, что стал коммивояжером, торгует скобяными изделиями, имеет неплохие связи в северо-восточных районах. А я рассказал, чем я занимаюсь. Его удивило, что до призыва я учился в лондонском архитектурном училище.

— Вот бы не подумал на тебя, — сказал он. — Считал, что ты какой-нибудь чиновник.

Тут я сказал про Муна.

— Мун! — воскликнул он. — Коренастый, красномордый, говорит с фасоном? — Он понял по моему лицу, что угадал, и, рассмеялся. — Они из него кишки вытряхнули в тюряге, — добавил он. — Таким, как он, всегда хуже всех достается. Капрал, который зуб на него имел, донес, что

---

[40] Примечания: 40

Армия добровольцев, созданная в начале первой мировой войны по инициативе военного министра Англии графа Китченера, существовала до введения воинской повинности.

военная полиция застукала его с ординарцем.

Мне точно пощечину влепили, но, думаю, он даже не заметил.

— Они его просто обосрали на суде. Распинали. «Развращение молодежи», «Опозорил звание офицера королевской армии»... и прочая хреновина. Его Военный крест [41] только портил дело.

— Он не говорил про Военный крест.

— Его с ходу наградили. Снял одного парня с проволочного заграждения. Услышал крик и вернулся, хотя мог бы сообразить, что парню кранты. Пед несчастный! Такой уж уродился. — Потом прибавил: — Зря я тебе это рассказал. А ты помалкивай, не говори ему, что меня видел. Здорово, что я на тебя налетел. Вряд ли еще когда доведется. — Он взмахнул рукой и ушел.

Известие, что Мун гомик, не очень расстроило меня, хотя я не мог уже выкинуть это из головы. Мысль о гордом и независимом человеке, которого заталкивают, как скотину, в военную тюрьму, и он оказывается в лапах мерзкой шайки, которая непременно найдет способ его подмять, — вот

---

[41] Примечания: 41

Орден, которым награждали за храбрость уоррант-офицеров (военнослужащих в сухопутных войсках и ВВС, это звание следует по старшинству за категорией сержантского состава), лейтенантов и капитанов. Учрежден в 1914 году.

что приводило меня в ужас.

Конечно, на этом дело не кончилось. Не спрашивайте почему, но с того дня Мун знал, что я знаю. На следующий день он сказал ни с того ни с сего:

— Секс! Это же кошмар! Сущий дьявол! Он искушает нас, портит. Может, это и есть тот самый ад, о котором ты спрашивал, Беркин?

И с тех пор отношения наши изменились.

Вот уже несколько дней, как я снова изучал северную часть фрески, самую крайнюю ее часть, где изображены ликующие праведники, чьи добродетели перевесили их прегрешения на весах архангела Михаила, и теперь они устремляются ввысь, где их ждет вечное блаженство. Самодовольное, скучное это было сборище, ни одной живой черты лица, не то что у их собратьев, обреченных на мучения. И одеты как-то скучно, серафическая синева одежды, должно быть, начала выцветать в первые же двадцать лет.

В общем и целом работа моя была почти закончена, смойся я прямо сейчас, никто бы ничего не заметил, даже старина Джо Уоттерсон, если только не потребовал бы лестницу. Но для собственного удовлетворения я должен был собрать все воедино, прибавить кое-где света, не убирать

кое-где всю копоть — оставить ее, скажем, чтобы выделить руку или ногу или еще оттенить волосы и лицо. В нашей профессии нет такого прибора, который бы свистел, когда ты снимешь всю копоть и грязь безжалостного времени. Так что мне приходилось опираться на доброе старое правило: семь раз отмерь, один раз отрежь.

Самое трудное осталось позади, теперь я был в тихих водах. Теплые долгие дни, точно сговорившись, держались весь август. В палисадниках перед домами цвели душица и розы, маргаритки и турецкая гвоздика, а по ночам все утопало в тягучем аромате. Вейл, тяжелый от листвы, недвижный ранним утром, знойным днем темнел пещерами теней, глушил стук бегущих на север и на юг поездов.

Лето! Лето моей молодости! И моей любви! И даже еще лучше — моей тайной любви, которую я оберегал и нежил. Это странное чувство, редко его испытываешь больше чем раз в жизни. В книгах его довольно часто изображают как муку, но я ничего такого не ощущал. Может, позже, но не тогда.

Я был женат, Винни ушла к другому, мы оба не особенно убивались. Она предусмотрительно оставила дверь приоткрытой, чтобы в случае чего

шмыгнуть назад. И вот Алиса Кич. Я был уверен, что она была глубоко верующей: замужество для нее в самом деле означало «…что Бог сочетал, того человек да не разлучает» [42]. И не забывайте — был 1920 год, мы жили в другом мире.

Так все и шло, так и будет идти, пока я не уеду. Потом год-два мы будем обмениваться на Рождество вежливыми открытками, а потом нас будет уносить друг от друга все дальше и дальше. Но сейчас она была здесь и, не ведая того, принадлежала мне. Мне хотелось так думать.

Она приходила теперь каждый день, без сомнения понимая, что скоро мы с Муном уедем и Оксгодби опустеет. Мы стали болтать более непринужденно. Она узнала о Винни, о том, какая бестолковая была у нас жизнь, та, что, видно, пошла прахом. Мы даже о ее парне поговорили и о том, что, как это ни смешно, он по-прежнему мне очень даже нравится.

— Не понимаю, как можно над этим смеяться, мистер Беркин, — сказала она.

— Два месяца назад я ни за что бы не смеялся, — ответил я. — Это все Оксгодби. Если ей понадобилось уйти к нему, почему бы нет? Я ей не

---

[42] Примечания: 42
Евангелие от Матфея, 19, 6.

тюремщик. Мы толком не знали друг друга, когда поженились. А кто знает? Если уж серьезно, кто как следует знает друг о друге все даже после двадцати лет совместной жизни? Мы ведем себя так, как считаем нужным, потому замужество — это как та игра в отгадку, где один что-то загадывает, а другой может говорить только «да» и «нет», верно? Ну а если другой не утруждает себя отвечать ни «да» ни «нет» — игра стопорится.

Но она не поддержала эту тему. Она рассказала о своих школьных годах в Гэмпшире, о том, какие близкие отношения у нее были с отцом, она всюду с ним ездила, потом он умер, а через год вышла замуж. И на этот раз я изменил тему.

Помню, как она пришла ко мне на следующий день после моей поездки в Рипон. У меня не выходило из головы то, что я узнал про Муна.

— Вы, по-моему, меня не слышите, мистер Беркин! — крикнула она. — Хотите, я вам спою?

И она начала, великолепно имитируя грубый йоркширский выговор:

Распят за на-а-ас,

Распят за на-а-ас,

Агнец предостойный распят за нас… —

не выдержала, захихикала, потом — дивные

переливы смеха.

— Тише, — сказал я. — Сейчас самое трудное. Надо сосредоточиться.

— Значит, вы не работаете?

— Конечно, работаю. Я смотрю на нее. Нельзя спускать с нее глаз, как бы чего не вышло. Возьмет и снова исчезнет, в ваш муж не успеет удостовериться, что деньги его потрачены не зря.

— Не надо, пожалуйста! — сказала она.

— Вы правы, простите! Глупость сморозил!

— Мой муж… — начала она и немного помолчала. Снова начала: — Артуру в деревне нелегко. Он очень искренний. Он считает, что подальше к югу мы лучше бы прижились. В Сассексе у него брат и сестра… — Это был крик о помощи. — Мне нравятся местные жители, — продолжала она, — но не уверена, что они нас любят. Мы здесь чужие.

— Ну что вы, — сказал я.

— Думаете? Правда?

— Я уверен, многие будут жалеть, если вы решите отчалить.

— Отчалить?

— Ну так говорят, когда семья переезжает. Очень милое слово. А у уэслианцев вы просто успехом пользуетесь, — сказал я, чувствуя, что она нуждается в поддержке. — Миссис Эллербек

говорит, что вы очень привлекательная. Ну что вы на это скажете? Услышать такое от другой женщины?!

— Привлекательная! — повторила она, будто ей подобное и в голову не приходило, будто ей никто этого не говорил.

Я подошел к краю настила и посмотрел вниз.

— Вы в самом деле привлекательная, — сказал я.

— Привлекательная? — повторила она беспомощно. Многие женщины не удержались бы от этого вопроса, заходя не слишком далеко, но достаточно далеко, оставляя путь к отступлению, чтобы уйти целой и невредимой.

Ладно, Алиса Кич, по-моему, на тебя надо поднажать. Ты тоже можешь лежать в темноте без сна.

— Многие мужчины назвали бы вас не просто привлекательной, — сказал я. — Они назвали бы вас красивой. (Я удержался, не сказал «я».)

— О, — сказала она и испуганно глянула в поисках защиты на Летицию, выкарабкивающуюся из катафалка, зная, что спасение — вне этих стен, но не зная, как достойно отступить. Тогда она мобилизовала все силы и нанесла ответный удар. — А вы? — сказала она.

— Я! Ну я не художник, но мне в архитектурном дали диплом со стопроцентной гарантией, что я распознаю Красоту, едва на нее упадет мой взор. Так что, будучи профессионалом, могу заверить вас — да, вы красивы. Очень.

И позволь она себе зайти чуть-чуть подальше, подай мне знак, я бы тут же перечислил все ее чары — подробнейшим образом! — ибо кровь моя кипела. Delectissima, amantissima!

Но вмешалась судьба в идиотском обличье Моссопа.

— А-а, мистер Беркин! — завопил он. — Слыхать, к концу подобрамши, а насчет платы как?

— Вам перевести, миссис Кич? — крикнул я вниз.

Но она ушла.

Vale!

Не знаю, что сказала Алиса Кич своему мужу, но день он свой начал с прихода в церковь, где я его застал, вернувшись после завтрака с Муном.

— Моссоп говорит, работа закончена, — сказал он, не дав мне переступить порог. — Да я убедился, что закончена. Очень хорошо. Итак, душеприказчики поручили мне провести окончательный расчет. В конверте деньги. Тридцать фунтов пятнадцать шиллингов, как договаривались.

Раньше была белая, слепая стена, а теперь не слепая. Раньше торчали леса, у него на колокольне жил кто-то, кому пора сматываться. Господи, что ему было до мук творчества. Мы — давно умерший автор фрески и я, претерпевший столько, чтобы его фреска снова проступила на свет божий… Мы оба ровным счетом ничего для него не значили. Вот почему я сказал ему, что леса мне понадобятся еще на несколько дней.

— Но ведь работа закончена, — сказал он. — И расчет произведен.

— Это вы сказали, что закончена, — ответил я. — И я не просил производить со мной расчет.

— Вы брали несколько выходных, — сказал он. — Целый день провели в поле во время жатвы, другой — с уэслианцами, да и еще несколько раз я наведывался, а вас тут не было.

— Послушайте, — сказал я резко. — Мне платят не сдельно — и это вам крупно повезло, а не мне. Работа не кончена.

— Я велю разобрать леса, — сказал он упрямо.

— Правда? — сказал я. — В таком случае я поставлю в известность душеприказчиков, что вы мешаете мне выполнить условия контракта, и, без сомнения, это будет для них спасительным предлогом не тратить на вас ту тысячу фунтов,

что мисс Хиброн оставила церкви — условно.

Он понял, куда я гну, а я этого и добивался.

— Я не хочу ссориться с вами, мистер Беркин, — сказал он. — Вы ведь недолго здесь задержитесь, хотите, чтобы леса еще несколько дней постояли, пусть постоят. Не сомневаюсь, вас не затруднит сообщить, когда я смогу попросить подрядчика разобрать их.

Мы молча смотрели друг на друга в течение нескольких минут. Я успокоился, хотелось только, чтоб он поскорее ушел. Но когда он заговорил, как это ни странно, он в точности повторил слова своей жены.

— Мне нелегко, — сказал он. — Я не всегда был таким, ну, каким я, может, кажусь.

Я старался прикинуться, что не понимаю, о чем он, но мне не удалось, зато удалось изобразить изумление тем фактом, что находятся типы, которые не видят, какой он отличный, энергичный праведник, чтимый приходом и достойный славного восхождения к лику святых и даже выше. Снова я потерпел неудачу, потому что он улыбнулся. Бледненькой такой улыбочкой, но все же.

— Я знаю, что вы обо мне думаете. И Мун тоже. Просто хотите так обо мне думать, верно? Вы себя настроили.

Мне стало, мягко говоря, неловко. Отчасти оттого, что всегда неудобно, когда кто-то, кого не очень-то любишь и даже очень недолюбливаешь, пытается обжаловать вынесенный ему приговор. А отчасти потому, что он был прав: мы действительно отвели ему роль мрачного кассира и только и ждали, чтоб он ушел и подольше не показывался.

— Мне нелегко, — повторил он. — Англичане не глубоко религиозные люди. Даже из тех, кто часто ходит в церковь, многие делают это по привычке. Они причащаются легкомысленно и небрежно, я еще не видел человека, у которого бы волосы дыбом вставали от мысли, что ему предстоит вкусить крови своего умирающего Господа. В День осеннего Благодарения или на всенощную под Рождество в церкви очень много народу, но это лишь языческое прощание с уходящим сезоном, не более. Я им не нужен. Меня ждут только на крестинах, свадьбах, похоронах. Особенно на похоронах, я для них подрядчик, который благополучно их переселит на другое место жительства. — И он горько засмеялся. — Я наскучил вам, мистер Беркин, — сказал он. — Вам тоже я не нужен. Вы вернетесь туда, откуда приехали, здесь вам открылось то, что глубже веры,

то, о чем вы не можете говорить, но чего никогда не забудете, то, что составляет суть религии. И при всем при том, пока вы были здесь, стоило мне подойти к вам, вы сообщали, что погода прекрасная, кивали, говорили, что работа продвигается и что вы чудно устроились. Вы только и ждали, когда я уйду.

Вечером, по дороге из «Пастухов», я рассказал Муну, что приходил Кич.

— Да, я его понимаю, старик, — сказал Мун. — В конце концов, там его рабочее место, а ты треть площади занял. И к тому же он прав, ты ведь уже закончил…

Он не дал мне возразить.

— Ладно тебе. Конечно, закончил. Прекрасно знаешь, что, если бы захотел, в полдня бы управился. Достаточно на тебя посмотреть, не говоря о стене. Неделю целую кружишь, как пес какой хвост задрамши (даже Моссоп просек). Так и каждый бы на твоем месте, кто семь потов спустил, а трудную работу вытянул. Но вовсе не эта работа у тебя на уме. И не можешь же ты ее растянуть навеки.

— Я не нуждаюсь в твоих наставлениях, — сказал я.

— Да бога ради, — сказал он раздраженно. — Я

и не собирался тебя учить, сам знаешь, вредный ты тип. Я ведь про Оксгодби, про твоих друзей, про изумительное лето, про твою великолепную работу, И мало ли про что. Отхватил вкусный пирог — и радуйся, чего без конца пережевывать. Грустно, но что поделаешь! Вот увидишь, только завернешь за угол — и открывается новый вид, может, даже получше.

Он испытующе смотрел на меня.

— Слишком хорошо окопался, а? Эллербеки… Алиса Кич…

— Ну а ты? — спросил я.

— Да и мне давно пора мотать. Я даю тебе пару дней, чтобы оглядеться. Между прочим, не сегодня завтра осень наступит — я носом чую: лето еле теплится.

— Но ведь ты не сделал того, за что тебе заплатили.

Он засмеялся:

— А сделал бы, мы бы не познакомились, верно? Я сделал то, зачем лично я сюда приехал, осталось только все описать, а уж это в другой раз. А теперь, без шуток, наступил черед Пирса, уверен на сто процентов, что незабвенная мисс Хиброн на ветер свои деньги не выбросила. — Он усмехнулся: — Честно говоря, я выжидал, пока

у тебя уже не будет предлога не помогать мне. Завтра или никогда, старина. Спокойной ночи.

Перед тем как лечь спать, я встал у окна. Мун прав: первое дыхание осени было разлито в воздухе — и щедрое чувство, стремление схватить, удержать ускользающее, пока не поздно.

Наутро он разбудил меня криком, что пора завтракать. И когда мы ели, он показал мне то, что он назвал Волшебной палочкой Доутвейта, — длинный стальной прут, очень острый на конце, который ему сделал кузнец. И мы отчалили с молотком для подковки лошадей и картонной коробкой.

— Простых людей отправляли на тот свет в саване, — сказал он. — Из чистой шерсти, о чем указано в парламентском акте, чтобы поддержать торговлю. Но мой старик тянул на каменный ящик. Вот почему нам нужна Волшебная палочка Доутвейта: будем делать шурф.

Он все предусмотрел, и мы заняли самые выгодные позиции — у впадины на лугу, о которой он мне говорил в первый день нашего знакомства, в расстоянии шага от стены с юга.

— Ближе к алтарю они его положить не могли, я все промерил. Да, человек живет надеждой. Твоя очередь! Вставай на коробку и не гни мне

мою палочку.

Знаете, как здорово наблюдать профессионала за работой, если умеешь смотреть?! То есть — как здорово понаблюдать за тем, кто свое дело знает. Потом ты на него смотришь другими глазами. И таким я Муна видел первый раз. Как ни странно. Он не делал ни одного лишнего движения. Первый ход! Он поручил мне дурацкую работу: я должен был вбивать его прут до тех пор, пока он не войдет, как Мун выразился, в зону вероятности. Потом он стал, чуть осторожнее, вбивать прут и после каждого удара прикладывал ухо к земле, прислушивался к вибрации.

— М-м-д-а, — сказал он. — Боюсь, это гораздо глубже, чем хотелось бы. — И снова стукнул. Прут задрожал со скрипом. — Ладно, давай помечу его мелом на уровне земли, потом вытащим его и попробуем рядышком, во все стороны.

На фут западнее прут прошел глубже отметки, не задрожав, не заскрипев. На фут к востоку мы снова уткнулись в камень, потом попробовали еще на фут восточнее.

— Просто отлично, старина, — сказал Мун, потирая руки, — это лишний раз доказывает, как крепка память народная, пусть это будет тебе уроком: Моссопов надо уметь слушать. Дело в том,

что я беру лопату, а тебе, в знак моего уважения, поручаю срыть первый слой. В пиратских историях никогда не знают наверняка, нашли ли клад, пока не увидят его. Но я с полной уверенностью заявляю тебе и всему ожидающему человечеству, что Пирс лежит на глубине лопаты.

— Ну что, дрожишь от волнения? — спросил он. — Роешь ведь там, где рыли пятьсот-шестьсот лет тому назад! Нет? А я человек простой, считаю, что это так же увлекательно, как расчищать твою стенку. Ну, конечно, конечно, это я загнул. Ты, как прочие, так воспитан, что ждешь от жизни пышных сюрпризов. А мы, землеройщики, люди неиспорченные, малейшее отклонение в оттенке почвы — и в нас взыгрывает адреналин. Остановись, мой друг, даже ты мог бы заметить, что ты швыряешься землей, которая должна бы находиться на три штыка глубже. Великолепно!

Очень трудная была работенка, и я был весьма доволен, когда Мун опустил прут в яму и велел мне вылезать.

— Ты проявил себя истинным английским тружеником, — сказал он. — Моссоп сказал мне по секрету, что скоро перестанет рыть могилы, что входит в круг его обязанностей, — в связи с ревматизмом, уменьшением числа клиентов и

нищенской оплатой. С его поддержкой и с моей рекомендацией, считай, место твое, только попроси. До седых волос в Оксгодби проживешь.

Он залез в яму, встал на четвереньки и начал, осторожно просеивая землю, складывать ее в мешок из-под плотницких инструментов, который я время от времени должен был поднимать. Просеет — сложит, просеет — сложит.

— Давай пошевеливайся, — торопил я его. — Мы тут, чего доброго, целый день проторчим; в конце концов, если очень повезет, найдем кости старого мерина.

— А мы и будем целый день, — ответил он. — Сюда примерно все и попадало. Ну же, поднапрягись, представь — вот твой мужичок по дороге домой из лесу с дровами, вот он остановился, огляделся. А вот гляди! Что-то из кармана у него и выпало. А чуть пониже — скорбящий брат над могилой бросил последнюю горсть земли, в знак последнего прощания. Кто-то же его любил! Кому как не тебе — ведь ты недели провел с ними наверху — следовало бы жить средневековьем!

Так мы сидели в своей яме, пока не выбрались на солнышко перекусить хлеба с сыром и вздремнуть. Потом снова вниз. По дороге домой с поля завернул Моссоп и с недоверием глянул в яму.

Мун объяснил, что роет себе могилу, поскольку абсолютно уверен, что умрет в ближайший выходной, а Моссоп, заметив, что мы, южане, немного того, с придурью, пошел своей дорогой. Кейти Эллербек пришла, преподобный Дж. Г. Кич пришел, с полдюжины парней приходили, мистер Доутвейт заглядывал, притащилась безумная миссис Хигарти, волоча свой разваливающийся стул-коляску. Но они увидели только дыру, которая уходила все глубже и глубже, и удалялись в печали.

Когда Мун нашел, как он клялся, костяную пуговицу, мы сочли, что это знак небес о том, что пора поесть пирожков со смородиной, которые мне прислала миссис Эллербек.

— Пятнадцатый век! — кричал он. — Мы у цели!

Но пока он не выкурил трубку, он не спешил.

— Ладно! — сказал он. — Спокойно! Что бы там ни лежало, оно лежало достаточно долго и никуда не убежит в ближайшие двадцать минут.

Было около шести вечера, когда он дал сигнал к последней пробе, выбросив наверх в мешке свои башмаки и носки; он уже не мог совладать с волнением и просеивал землю с такой скоростью, так фантастически быстро, что камень

буквально бросился в глаза. Резная рукоятка, изящно вправленная в каменные завитушки, на выпуклой крышке, в изголовье — рука, держащая причастную чашу, на краю облатка.

— Думаю, здесь должно быть имя! — крикнул Мун. — Я сотру грязь. Нет, лучше вымою. Вылезай, неси мне чайник.

Смочив и промыв камень, он задумался, раскачивая головой.

— Ну? — спросил я. — Говори же! Это Пирс или нет?

Не отвечая мне, он вылез и сказал:

— Имени нет. Было бы просто невероятно, если бы оно тут оказалось. Просто «Miserrimus» — «Я, несчастнейший изо всех людей», так, наверно, можно это перевести. Господи, они действительно имели зуб на беднягу. Но почему, почему, почему? А, да что там. Боюсь, мы никогда не узнаем ответа.

Потом он принес фотоаппарат и сфотографировал свою находку во всех ракурсах.

— Для печати! — вскричал он. — На тот случай, если мне понадобится работа в университете. Им плевать, какой ты специалист, главное, чтоб опубликовался…

— Слушай, — продолжал он. — Давай-ка загля-

нем внутрь, потом уж ты слетаешь к полковнику, заставишь его подписать счет за своего предка. Осталось только поднять крышку на несколько дюймов. Мы вдвоем справимся.

Мы спустились в яму, я толкал, а он тянул на себя, пока огромный камень не поддался. Мы заглянули внутрь. Ничего пугающего или даже печального нет в давно умершем, просто разрозненные коричневые кости и немного пыли. А на что еще мы могли рассчитывать спустя пятьсот лет?! И все равно это страшно возбуждает — шутка ли, первыми увидеть то, что так долго было скрыто, и Мун, приблизившись вплотную к отверстию, легонько дунул. Поднялось облачко пыли.

— Саван! — пробормотал он. — Потом он сказал: — Назвался груздем, полезай в кузов. Давай вдвоем поднатужимся и поставим ее к стенке ямы.

Так мы и сделали, крышка тронулась с места, мы передвигали ее дюйм за дюймом, пока не увидели разрушенный скелет. Присев, мы стали его разглядывать.

— В прекрасном состоянии! Просто первый сорт, — шептал Мун. — Наверно, воздух не поступал. Но посмотри-ка на третье ребро. — Он еще

ниже нагнулся и дунул. — Ага!

Из-под ребра выскользнуло что-то металлическое, он осторожно выудил с помощью карандаша цепочку.

— Да, да, полумесяц! Так вот почему его не разрешили хоронить в церкви. Он был мусульманин. Схвачен в плен во время похода и потом обратился в другую веру, чтобы спасти свою жизнь! Господи! Представляешь, что поднялось, когда он снова появился в Оксгодби! Интересно, что скажет на это полковник? — И он насмешливо посмотрел на меня. — Да, жаль! Но, как говорится, не тронь лихо, пока спит тихо, особенно если тихо спит еретик.

Он освободил цепочку, разомкнул одно звено и завернул ее в носовой платок. Потом выбрался из ямы, вытащил стальной метр и, как ученику портного, велел мне выкликать размеры.

— Ну, теперь слетай к Кичу, — сказал он. — А я — к полковнику, мы устроим показ номер один. Потом мы положим на место цепочку и тем самым сохраним Пирсу его репутацию такой же незапятнанной, какой она была. Но сначала мы заберемся по твоей лестнице наверх и глянем на его лицо, пока оно не исчезло снова.

Знаете, до той минуты мне и в голову не прихо-

дило, что этот мешок с костями — мой падающий человек.

На следующий день была суббота, и теперь, поскольку с Муном мы кончили, я решил завязывать и со своей работой. Я послал записочку, что не смогу судить в Стипл Синдерби, и, поработав все утро, спустился вниз около двух часов дня. Я жевал хлеб с сыром на дворе, втайне надеясь, что Мун где-то поблизости. Но он так и не появился, а потом оказалось, что он уехал в Йорк утренним поездом.

Устроившись на надгробье Элиа, я поел и выкурил сигарету, а потом заснул, вытянувшись на теплом камне и подложив руку под голову. Проснувшись, я увидел Алису Кич, которая, должно быть, уже давно пришла, потому что она улыбалась.

— Я так и поняла, что найду вас здесь, — сказала она, — когда не увидела вас с нашими игроками в крикет у «Пастухов». Я принесла вам яблок. Это — пиппин, они тут хорошо плодоносят, я помню, вы говорили, что любите твердые яблоки.

Поговорили о яблоках. Похоже, ее отец был в них большой знаток. В Гэмпшире у них был огромный фруктовый сад, он там выращивал очень много разных сортов, он и ее научил в них

разбираться.

— Прежде чем откусить, он, бывало, понюхает яблоко, покрутит в ладонях, потом руки понюхает. Потом постучит по яблоку, ощупает, как слепой. Иногда и мне давал с закрытыми глазами откусить и определить, какой сорт.

— Надо было отличить д'Арси спайс от Кокс оранж?

Она засмеялась.

— Нет, это совсем просто, все равно что соль от перца отличать. Я о яблоках, очень похожих по форме, вкусу и запаху. Вроде, ну, скажем, Козет рейн и Душистый ранет. Я специалист по яблокам. Я, по-моему, только один экзамен могла бы сдать — по яблокам.

И вдруг ни с того ни с сего она спросила, можно ли ей посмотреть, как я живу, и мы поднялись.

— Ах, вот откуда вы шпионили за нами во время воскресной службы? — сказала она, просовывая голову за мою капитель и заглядывая вниз. — Какое мы, должно быть, представляем вдохновляющее зрелище!

Я сказал ей, что она была в полной безопасности — я видел только ее шляпку.

— Светлую, соломенную, — сказал я. — Это моя любимая. Особенно когда вы розу к ленте при-

калываете.

— Розу! Позвольте напомнить вам, сэр, что Сара ван Флит — не какая-нибудь заурядная роза. Жаль, что поздно сказали. Если бы я знала, я бы каждое воскресенье ее надевала. Артур, по-моему, и не замечает, что я ношу.

Потом она повернулась и подошла к противоположному окну. Какое-то мгновение стояла молча. Потом спросила:

— Значит, мистер Мун нашел все-таки?

А почему бы и нет? — подумал я. Все равно это будет опубликовано. Я рассказал ей о его успехах и наклонился, чтобы показать то место, где стояла англосаксонская церковь. Она тоже повернулась и коснулась меня грудью. И хотя мы оба смотрели через луг, вперед, она потом отодвинулась от меня не так быстро, как могла бы.

Мне бы руку поднять, обнять ее, повернуть к себе, поцеловать. Такой уж был день. Она потому и пришла. И все бы было по-другому. Моя жизнь, ее. Мы сказали бы друг другу все, что накопилось, а потом, может, отошли бы от окна и легли бы вместе на мою самодельную кровать. А потом мы уехали бы, может, ближайшим поездом. Сердце мое бешено стучало. Я не дышал. Она прислонилась ко мне, ждала. А я не пошевельнулся, не

сказал ни слова.

Она отстранилась и вымолвила нетвердо:

— Спасибо, что показали. Мне пора бежать. Артур будет беспокоиться, не стряслось ли чего со мной. Нет, пожалуйста, не провожайте.

И она ушла.

Я часа два, наверно, сидел один, на полу, прислонясь к стене колокольни. Слыхал, как Кейти Эллербек звала меня снизу, но не ответил, и та ушла.

На следующий день, в воскресенье, она не пришла в церковь, а у меня не было сил видеть Муна, священника или Эллербека, и я пошел в поля, но не по тропкам, а где через калитки, где через ограды, брел на запад. Я никогда здесь не был раньше. В воздухе стояли тепло и спелость. Осень горела над Вейлом, березы пылали, как факелы, спала дымка зноя и проступили отчетливые контуры кустов, деревьев, коров, пасшихся у края поблекших полей. Хоть мне и не хотелось с этим смириться, но я знал, что все это мимолетно.

Чудесные дни подходили к концу.

Я вернулся в темноте, так поздно, что в окнах погасли огни. И все равно я знал, что мне не уснуть, я повернул за палаткой Муна и пошел по подъездной аллее-туннелю к дому священника.

Я вышел на дорожку вокруг дома и остановился перед домом; над деревьями встала луна, заливая всю сцену светом. Окно спальни было открыто, и на минуту мне показалось, что возле него стоит Алиса в ночной рубашке, что она увидела меня и машет рукой.

Нет, это просто была занавеска, подхваченная ночным ветерком.

Не знаю, на что я надеялся, сколько там стоял, не помню, как вернулся на колокольню, как лег спать, Я иногда думаю: может, все это мне приснилось?

Утро следующего дня я просидел у себя на верхотуре — прямо на полу, привалясь к одной стене, уставясь в противоположную. Один раз меня позвал Чарльз Мун, то и дело в церковь кто-то заходил (но не она). К вечеру я взял себя в руки. Что ж, подумал я, существует же для большинства из нас вторая попытка, может, она меня ждет там, а я здесь сижу.

Но, подойдя к аллее, я с трудом заставил себя идти дальше, остановись я — тут же повернулся бы и ушел. И вот наконец я на этом уродливом крыльце, в шаге от дверей, дыхание перехватило, будто бежал.

Почему всегда знаешь, что в доме никого нет?

В этом доме никого не было, я это знал. Еще до того, как никто не ответил на мой стук, еще до того, как я наклонился к прорези, куда бросают почту, и заглянул внутрь, в такую непроглядную темень, что только по памяти смог восстановить каменные плиты коридора, закрытые комнаты, голые ступени лестницы.

Их там нет, подумал я. Они уехали. И я отошел от двери.

Потом вспомнил о колокольчике, о его тонкой ручке, выглядывающей из отверстия в дверном косяке, о ржавой проволоке, уползающей в темноту и молчание. Я дернул за нее, услышал сначала скрежет, потом вдалеке, в глубине пустого дома, звякнул колокольчик — он нарушил тишину и через мгновение стих. Да, там, где-то высоко на стене, он, верно, еще дрожит, как живое существо.

Не пойму, что случилось со мной? Обезумев, схватил ручку и начал дергать ее без передыху — по коридорам, закоулкам, лестницам, отдаваясь эхом, прорезая темный и пустой дом, зазвенел колокольчик, как переливы ее смеха. Но я уже знал: этот смех доносится до меня из прошлого — чистый, веселый и все-таки мучительно грустный. Это был самый тяжкий момент в моей жизни.

Я дергал и дергал проволоку, неистово, отчаянно. Не помню, долго ли, но когда, наконец, я пошел прочь, я знал — мне ее больше не увидеть.

Я кое-как промаялся до конца дня, а ночью поднялся ветер, хлестал по ветвям рябины, налетал на церковную башню с такой силой, что впервые за те дни, что я там жил, надо мной загудел колокол. Слабенький, тощий звук слетал с его краев. В полузабытьи я гадал, к чему б это звонит колокол, а утром мне это припомнилось просто как ночной звук.

Наступил один из удивительных светлых дней, какие выпадают после непогоды. Деревья совсем облетели, чернели голыми остовами, а листья лежали кучами возле изгородей домов. Дети играли листьями, подбрасывая пригоршнями в воздух, повизгивая, как купальщики на море, Я увидел крышу, стены и сады, раньше от глаз прятавшиеся. Это было так же странно, как в первый раз увидеть карту местности, которую ты вроде бы знал и вот обнаруживаешь новые углы и дыры.

Я долго смотрел вниз из окна. Лето и осень ушли. За ночь год перевалил в другой сезон. Во дворах и садах люди прибирались, жгли мусор, подрезали кусты, укрепляли заборы, вычищали сточные канавы. Они выходили, подчиняясь

естественному ходу вещей, как ласточки пристраиваются на телеграфных проводах, а ежи внюхиваются в листву под живой изгородью, устраиваясь на зимнюю спячку. Они поступали так же, как их предки, мужчины и женщины на моей фреске — готовились к зиме, как к атаке врага.

В то утро я получил свое первое письмо. Бог ее знает, откуда она разузнала мой адрес — письмо от Винни, она звала меня вернуться домой. Там много чего было понаписано, но смысл сводился именно к этому — она звала меня домой. У меня не было иллюзий. Она снова сбежит, а потом снова вернется. И никуда я не денусь.

Прочитав послание, я сложил свои пожитки, все, кроме моего сногсшибательного пальто. Я оставил его на гвозде для Моссопа, оно ему определенно приглянулось, он не раз им восхищался, а мне больше нечего было ему подарить. Потом я спустился и оглянулся. Старушка Бэнкдем — Кроутер сейчас отдыхала, может, как раз и наступила пора раскочегарить ее и уйти — средь грохота, дыма и искр? Потом я прошел под южную арку посмотреть в последний раз на последнее «прости» неутешного мужа Летиции:

«Ah, amantissima et delectissima. Vale».

И подумал: верно, к лучшему, что ты так рано удалилась, едва ли все это длилось бы долго.

Последнее, на что я бросил прощальный взгляд, остановившись под лесами, была фреска, полускрытая тенью. По правде сказать, ничего особенного не чувствовал. Наверно, не больше, чем каменщик, перед тем как уйти и класть стены нового дома. Раньше тут была серая стена, а теперь — фигуры и краска.

Я надел рюкзак и вышел во двор. Хотя шел уже десятый час, трава стояла мокрая от росы, а в воздухе висела паутина, согнанная ветром с кустов и вереска. Все как прежде — поле, высокие леса, даже свернувшаяся кошка. Она злобно посмотрела на меня, когда я скинул петельку с ворот, чтобы пойти через луг попрощаться с Муном перед тем, как отправлюсь на станцию и к Эллербекам. Потом (не пойму отчего) безразличие мое прошло, и я понял — что бы ни происходило со мной в эти месяцы в деревне, я прожил их рядом с великим художником, тайным товарищем, делившим со мной долгие часы трудов в полусвете над аркой. И я вернулся и снова поднялся по лестнице — взглянуть в последний раз. И, стоя перед огромным

пространством цвета, я чувствовал знакомое, покалывающее волнение и уверенность, что наступит день и час и кто-то неведомый вот так же будет стоять тут и все поймет.

Так же кто-то приходит в Молверн, тихий Молверн, и останавливается, сраженный мыслью, что Эдуард Элгар [43] ходил этой дорогой давать уроки музыки, или же, глядя на Кли Хилс, думает, что Хаусман тоже стоял когда-то на этом месте, тоскуя по своему краю утраченной радости. *И* в такие минуты у кое-кого из нас всегда будет бешено биться сердце, потому что мы будем думать: бесценное мгновение ушло, и нас там нет.

Как бы мы ни просили, нам никогда не вернуть того, что казалось нашим навечно — то, как все это выглядело, одинокая церковь в поле, постель на полу колокольни, голос, который не забыть, любимое лицо. Все ушло, и остается ждать, когда уйдет боль.

Все это случилось давным-давно. Я не был там больше, не писал, никого не встречал, кто рассказал бы мне, что новенького в Оксгодби. И в памяти все как было, когда я уходил, — точно опечатанная комната, комната прошлого,

---

[43] Примечания: 43
Сэр Эдуард Элгар (1857—1934) — английский композитор.

недвижная, тихая, и чернила давным-давно высохли на оставленной ручке.

Но ни о чем таком я и не подозревал, когда снимал петельку с ворот, чтоб уйти через луг.

Стоккен, Престейн

Сентябрь, 1978